

Николай Ольков

---

# Собрание сочинений

1 том

Николай Ольков  
**Собрание сочинений. 1 том**

«Издательские решения»

**Ольков Н.**

Собрание сочинений. 1 том / Н. Ольков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-905034-2

В первый том собрания вошли: роман «И ныне и присно», а так же повести «Подарок судьбы», «Крутые Озерки» и рассказы.

ISBN 978-5-44-905034-2

© Ольков Н.  
© Издательские решения

## Содержание

Виктор Нелюбин: Вы читаете хорошую прозу	6
О творчестве николая олькова	6
И ныне и присно	14
Роман	14
1	16
2	26
3	34
4	46
5	55
6	62
7	67
Конец ознакомительного фрагмента.	68

# **Собрание сочинений 1 том**

**Николай Ольков**

© Николай Ольков, 2018

ISBN 978-5-4490-5034-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Виктор Нелюбин: Вы читаете хорошую прозу

### О творчестве николая олькова

Давний товарищ, выпускник Литинститута, попросил меня найти время для знакомства с творчеством его товарища, живущего в Сибири и издающего в последние годы по две, а то и более книги в год. Почти все его книги есть в Ленинке, ныне Российской Государственной библиотеке, но тиражи очень скромные – для внутреннего пользования тиражи, а издательство провинциальное, маркетингом не занимается. Так что автор практически неизвестен, хотя, как оказалось, это несправедливо, я читал всё с радостным чувством долгожданного обращения к традициям, увы! забываемой русской классики.

Это Николай Ольков, член Союза писателей России, довольно зрелого возраста человек, много ездил по стране, служил по десятку ведомств. Тоже выпускник Литинститута, в девяностые годы неожиданно для всех и для себя тоже, как признается, построил небольшую церквушку в деревне. Похоже, с этого события началось второе пришествие автора в литературу, к сборнику только что опубликованных рассказов «Ремезиное гнёздышко», бывшему дипломной работой в институте, добавились новые книги, большей частью очерковые и публицистические, но появились самодостаточные художественные издания. Должен оговориться, что этим словом я подчеркиваю художественную, рожденную вымыслом прозу, потому что и документальные вещи Николай Ольков пишет добротнo, чистым языком, образно и красиво.

Отмечу изобретательность, с какой автор подходит к работе над документалистикой. В одном предисловии он признаётся, что пишет не под заказ, а только о тех людях, которые ему интересны. Потому рождаются серии книжек о почётных гражданах двух сельских районов, очень своевременная, актуальная серия «Диалоги о наших временах», позволяющая людям старшего поколения, имеющим богатую биографию, рассказать о своём времени и порассуждать о настоящем.

Свое 60-летие писатель отметил оригинальной исповедью «Признаюсь, что живу», в которой не столько сам автор и его юбилей, сколько время и люди, которые его окружали и с какими сводила судьба: старец Тимофей, первый секретарь райкома Кныш, писатель Иван Ермаков, Герой Труда Гурушкин, краевед Малышев, зампред Совмина СССР Никитин, епископ Димитрий, журналисты, крестьяне. И – женщины. Автор так подает эти сцены, что принимаешь их за фрагменты рассказов и повестей, но нет-нет, да и мелькнёт мысль: о себе пишет, своё сердце греет. И пусть его...

Еще о двух книгах следует сказать отдельно. В 2004 году Николай Ольков издает свои журналистские работы: очерки, статьи, интервью под заголовком «Деревенские перемены. Тюменское село на пути реформ». Не будучи знакомым с сельским хозяйством Тюменщины, после прочтения книги я понял нехитрый замысел автора: он так расположил материалы, что вывод, как надо бы жить и работать, напрашивается сам собой. И как не надо – тоже очевидно. Автор получил премию «Публицист года», и этим всё закончилось. А ведь такие сборники могли стать регулярными, в них много отфильтрованных мыслей и выводов. Конечно, это дело губернских властей, я только констатирую.

Несколько лет назад Николай Ольков выпускает очерки истории Бердюжского района Тюменской области под милым названием «Синеокая сторона», книга эта не является учебником истории, она о том, как и какими автор увидел события, людей, процессы. Наверное, с ним можно поспорить, но подкупает его умение оказаться среди первых поселенцев, среди восставших крестьян, среди победивших фашизм скромных русских мужиков. Подкупают горяч-

ность, вплоть до душевного срыва, нежный лиризм и неудержимый оптимизм. Едва ли случайно повествование обрывается на кровавых событиях демократического переворота, когда автор ставит точку: «Это уже совсем другая история!»

С особым вниманием прочитал я повести и рассказы Николая Олькова, несколько книг, до обидного скромно изданных, но населённых живыми людьми, страстными, любящими, работающими. Они землю свою любят и Родину, они воюют и пахут, сочиняют музыку и растят детей. Может быть, их беда в том, что они слепо верят властям, и тем, и этим, их обманывают, а они верят, так принято. Но горе всем, если вера эта оборвалась, истончилась, тогда – бунт, пророчески названный бессмысленным и беспощадным. Сибирское крестьянское восстание против коммунистов в 1921 году, с жестокой точностью описанное в повести «Гриша Атаманов», автор называет заговором обречённых, но тысячи крестьян по Сибири поднимаются, а Ишимский фронт становится основным на театре новой гражданской войны. Фронтом командует Григорий Атаманов, ему 23 года, он умён, красив, утверждает лозунг «За советы без коммунистов», отвергает все партии, кроме той, к которой принадлежит по рождению, это русская партия.

Наше отношение к крестьянским выступлениям против советской власти в 1920—30 годах изменилось, прежде нас учили, что всё это происки кулаков и эсеров, потом открылись источники, по которым провоцирующим фактором восстаний оказалась бесчеловечная политика большевиков, а в Ишимском крае – откровенно антинародная продрозвёрстка. Отношения могут меняться, но события и люди остаются. Григорий Атаманов – личность историческая, но о нём мало что известно, как и о других участниках борьбы, потому автор пишет его, каким он мог быть в рамках тех событий и того времени, практически четырех месяцев, с момента избрания командующим до расстрела по приговору своей же контрразведки.

Григорий принадлежит к сильному роду Атамановых, крепко обосновавшихся в Ишимском уезде, ему есть за что воевать, хотя материальный аспект борьбы находится в стороне, его как бы вообще нет. И в словах, и в мыслях молодого командарма вечно великие и недостижимые идеи: свобода, равенство, духовность, причём дух свободы витает над восставшим народом, и глубоко символично, что последний бой мятежники принимают в церковной ограде под колокольный звон. «Не каждому православному выпадет такое счастье!» – эти печальные и гордые слова повстанца венчают короткую борьбу за свободу. Скажем и мы: не каждому писателю удастся найти такие краски и такие звуки.

Наверное, духовным наследником Атаманова стал герой повести «Глухомань» Григорий Гурушкин, он тоже предан малой своей родине, крестьянскому труду, он так же горячо борется за право крестьянина быть свободным. Гурушкин в условиях социализма создаёт сильное хозяйство и видит его завтрашний светлый день, но опять приходят люди со стороны, не имеющие с крестьянским бытом ничего общего, приходят, чтобы «научить мужика новой жизни». В который раз! Но тут иные условия, и уже нет вооруженного протеста, зато есть столь же высокое по накалу нравственное противостояние новых хозяев и действительных тружеников совхоза, чётко обозначен социальный и материальный раскол в народе, намечено почти необратимое падение большей его части в предсказанную бездну алкоголя и наркоты. Автор, хорошо знающий село, пишет эти страницы как репортаж со страшной гражданской панихиды, становится протестующим публицистом. Если это не добавляет достоинства повести как жанру, то гражданский уровень писателя—патриота поднимает безусловно.

Несколько особняком в ряду художественных книг Николая Олькова стоит роман «И ныне и присно», но и он строится на понятиях долга и чести, достоинства и свободы. Сюжет неожиданный для писателя—деревенщика, что ещё раз показывает условность подобной квалификации творчества: семья учёного из Варшавы переводится в Петербург, где сын историка Бронислав случайно встречается с Великой Княжной Анастасией, между юными людьми возникают трепетные отношения, далее происходят известные события: Мировая война, револю-

ция, арест царской фамилии и последующий подлый расстрел. Автор проводит Бронислава по всем кругам земного ада: чужое имя, лагерь, штрафбат, потеря семьи, снова арест – и через все это он пронес нежную, неземную любовь к Анастасии, Стане, так она разрешила называть её. А он дочь свою так назвал и просил передавать это имя из поколения в поколение. Журналист Никита Онисимов, в юности ставший другом Бронислава, через много лет почти случайно раскрывает тайну польского мальчика, встретившись с его внучкой Анастасией.

Но это только канва. А по ней вышиты картины сибирской природы, зимней, весенней, летней, и сделано это блестяще, природа не фон, а активный участник или предвестник событий. По ней писана коллективизация, и опять новый взгляд, нет копирования, ощущения вторичности материала. По ней нарисован православный подвижник Тимофей Кузин, личность колоритная, убедительная. Тут же генерал Невелин и сотрудник НКВД Форин. Животная ненависть большевиков к православию высветилась в краткой сцене изуверского разрушения церкви.

В предисловии к этой книге известный писатель Зот Тоболкин, первым прочитавший повесть, испуганно удивляется: а ведь мог и не прочитать, и многое потерял бы. Писатель Владимир Крупин в более поздней рецензии называет автора «человеком одаренным и православным – чего же ещё?». Но и этих оценок оказалось мало, чтобы ведающие издательскими деньгами поддержали хорошую книгу.

Рассказы Николая Олькова заслуживают самостоятельного анализа, каждый имеет ясный сюжет, выразительные диалоги, эмоциональную развязку. Не стоит, пожалуй, удивляться многообразию тем в творчестве пожившего и повидавшего человека. Он пишет трагедию и пафос библейского Иуды, смерть крестьянина Якова Васильевича, трогательную любовь в рассказах «Крутые Озерки», «Черемухи цвет» и солидной по объему «Книге любви», рассказывает об отце, а ещё есть подборка времен социализма и Литинститута, где через сдержанность и условности протискиваются образы, мысли, диалоги будущего серьёзного писателя.

Рассказы сборника «Подарок судьбы» я прочел с огромным удовольствием и порадовался, каким богатством распоряжается Николай Ольков, сколь интересен и многообразен мир, в котором он живет. Рассказы тонкие, лиричные, чистые. Их герои живут в деревне, наверное, там еще много таких честных и решительных, как Семен Золотухин, таких увлеченных и мудрых, как «нюхач», бесхитростных и простоватых, как тетя Таня и дядя Федя. Рассказ «Встреча» могу назвать классическим, он ёмкий, яркий, герой весь на виду, на пяти страницах необратимая душевная трагедия человека.

Отдельно о большом рассказе, давшем название всей книге. Это рассказ о любви, а Николай Ольков «умеет писать любовь так, как сейчас уже не пишут» (литературовед Юрий Мешков). В романе «И ныне и присно» несколько любовных линий, они все разные, но глубина и чистота их поразительно прекрасны. Чувство Бронислава Лячека к Великой Княжне Анастасии с полным правом можно назвать святыми. В «Глухомани» Сёма и Дарья, любящие сердца, так и не смогли выдержать испытания судьбы и жизнь прожили хоть и рядом, но врозь.

Невозможно и ненужно пересказывать отношения мужчины и женщины, но «Подарок судьбы» – особый случай: в деревню на жительство приехал известный композитор и несколько лет был в отношениях с молодой особой из местных. Отношения вдруг окончились, и композитор на своём автомобиле бросается под встречный грузовик. Банально? Нет. Рассказ ведется от имени капитана милиции, которому поручено расследовать трагедию, тот и выходит на любовную линию, подаёт её «на своём уровне», что усиливает лиризм, придает, насколько это уместно, улыбку и даже смягчает ужас происшедшего. Психологии здесь больше, чем событий, а вариантов оценок случившегося столько же, сколько читателей. Автор путает все карты, когда выясняется, что между любовниками была договорённость: появится у кого-то другой интерес – преград не ставить. Если несерьёзный это был разговор, тогда вся картина смотрится как подлая измена женщины. А если мужчина подписывался под таким договором, не пред-

полагая, как изменится его отношение к женщине к моменту предъявления ею своего права, тогда что? Следователь приводит два десятка фрагментов писем и дневниковых записей композитора, тем самым прослеживая почти незримый путь его к решению покончить с жизнью. Но до этого – упреки, заверения в равнодушии, приступы ревности, ненависти и откровения любви. Писатель заставляет смеяться и плакать, сожалеть о погибшем чувстве и ненавидеть измену. А ведь читатель не вдруг поймет, что его чувствами распоряжается гибкая мысль много понимающего человека. Николай Ольков написал, без сомнения, один из самых сильных лирических рассказов сегодняшней русской литературы.

Для всех, кто следит за творчеством Николая Олькова, который с завидной регулярностью радует читателей новыми произведениями, и эта книга будет очередной приятной неожиданностью. Давно живущая в обществе проблема отношений человека и алкоголя редко становится предметом художественного исследования, из серьезных литературных произведений можно назвать лишь повесть Виля Липатова «Серая мышь», изданную более сорока лет назад. И вот новая попытка, повесть «Птица, залетевшая в окно».

Верный своей деревенской тематике, автор свел в одном селе бывшего передовика совхоза Филимона Бастрыкова, умельца Артема Беспалого, сторожа Ваню Киричонка, районного руководителя Федора Ганюшкина. У каждого своя жизнь и своя судьба, но всех их объединяет зависимость от спиртного, они алкоголики.

Автор ведет своих героев аккуратно, неброско, и читатель видит, как спивается до самоубийства один, как нелепо гибнет, «с вина сгорает» другой, как неуклюже складывается семейная жизнь третьего. Федор Ганюшкин появляется молодым и красивым, это послевоенное поколение советских людей, попавшее в десятилетия всенародного питья, когда застольем сопровождалось все: свадьбы и похороны, выборы и партсобрания, премии и выговора. Умный, все понимающий Ганюшкин быстро делает карьеру, но надлом случился в самом ее начале, и он растет, обреченный на падение. Беспринципный в карьере и болезненно принципиальный в отношениях с женой, Ганюшкин становится жертвой собственных амбиций, и только через большие нравственные и физические страдания приходит к истине.

Следует заметить, что в произведениях Николая Олькова часто появляется некий старец, воплощение православной традиции и нравственности, наделенный редким даром убеждать людей. И здесь к Ганюшкину приходит бородатый, чистенький и богообразный старичок, приходит в период карьерного подъема героя и одновременно его нравственного падения, предупреждает о возможных страшных испытаниях и уже в конце их помогает встать на ноги.

Личная жизнь Ганюшкина вяжется тугими, но гнилыми узлами, её эмоциональная составляющая мечется от взлетов к падениям, развивающийся алкоголизм разрушает психику героя, его жена Елизавета разрывается между супружеским долгом и здравым смыслом. Отношения супругов Ганюшкиных на протяжении двадцати лет совместной жизни показаны автором деликатно и убедительно, психологически точно.

Все действие происходит на фоне обычной сельской жизни с её традициями и нравами, где с грустинкой, где с шуткой. В повести есть новелла о жизни Поликарпа Евдиновича, странного и в то же время простого русского человека, вобравшего в себя всю многострадальную историю своей родины. Это тоже одна из особенностей творчества Николая Олькова, подобные новеллы появляются во всех его крупных произведениях.

Птица, даже только севшая на окно, всегда считалась дурной приметой. А тут какие-то черные птицы влетают в избушку Ивана Киричонка, и об этом говорит деревня. Вскоре Ивана не стало. И в последней сцене повести, когда вся семья Ганюшкиных собралась в доме после целого ряда трагических событий, в открытое окно влетает птичка. К счастью, это была ласточка...

Жанр «Сказываний» определить сложно, это и эссе, и новелла, и даже частично повесть, хотя автор назвал их сказом. Но не это важно. Очень ценно, что в произведении в единую систему выстроены многолетние наблюдения писателя за бытом и обычаями, традициями и нравами сибирской деревни, образом жизни русских крестьян прошлых лет и веков. Есть тут что-то от «Лада» незабвенного Василия Белова. Написанные живо и эмоционально, «Ферапонта Андомина сказывания» с интересом читаются и могут стать предметом исследования специалистов.

Из глубин веков посмотри в нашу сторону, легенды переслушай и летописи пошевели, мудрых русских классиков почитай – всюду найдешь великое в самом простом человеке. Что былинные богатыри, что ратные герои Куликовской, Полтавской и иных Бородинских битв, что тульский мастеровой, сумевший импортной блохе подковы поставить, что Теркин Вася, гармонист и воин. Теперь к этой компании надо причислить и Лаврушу Акимушкина, рядового Красной Армии, жестоко пострадавшего от осколка снаряда, снявшего с Лаврика верхушку черепа. С того момента и стали случаться с ним такие события, что он и сам не мог понять, где в данный момент находится – то ли на грешной земле, то ли в небесных просторах.

А судьбой ему отмерена была доля крестьянская, желанная, унаследованная. Он босой ногой в щенячьем еще возрасте пробежался по уплотненному плужком жирному чернозему, толстый слой которого кривой лемех отвалил на сторону, и дорожка, образовавшаяся под лемехом, так и звала вперед, так и манила. Но нельзя убежать, потому что это дед Максим доверил ему первую в жизни борозду проложить, как можно обмануть? Дед Максим стоит и смотрит. И так по всей жизни Лаврика, даже после смерти дедушка приходил и давал советы, как жить.

Круто все переменялось в Акимушкином дворе, когда наступила колхозная жизнь. Правда, добрый человек опередил события, посоветовал, как голышом не остаться, чем и воспользовался отец Павел Максимович, но видимость голодного существования скуповатый батюшка создавал. И вынужден был Лаврик идти вместе с оборванцем Шатилой на Кизилровку ловить сусликов, на которых советские законы не распространялись, и они за осень отъедались на колхозных полях, да еще на зиму за щеками натаскивали в свои закрома чуть не по пуду сухой пшеницы. И зерна Лаврик нарыл, и сусликов есть научился. Когда на фронте поваром назначили – не затянувшееся ли приготовление сусличиного кондера стало причиной его приезда на передовую в аккурат к немецкому артобстрелу, накрывшему его полевою кухню?

Возмужал Лаврик к самой войне, в самый раз подоспел, а он другого хотел и о другом мечтал. А пуще того – дед Максим заметил в парнишке нечто необыкновенное, чего не было у брата его Фильки или у сестер меньших, да и за своими детьми Максим такого не наблюдал. Сметливый Лаврик, природой интересуется, травки собирает и деду несет: от чего она и зачем такой долгий корень, что лопаты не хватило, чтобы его вырыть? Или про птичек спросит: зачем одна поет раным-рано, а другая только под вечер голос подает? И думал дед Максим отправить Лаврика в городскую школу в Омск, был там у него дружок, а золотишко уже имелось на тот случай. Но сперва Колчак, потом свои восстали, потом власть мужика за шкварник взяла: все, не дергайся. И пропала дедова мысль сделать Лаврушу грамотным человеком, большим, умным. Только через много лет после смерти пришел он к внуку в виденьях его воспаленных и признался, что один такой в их породе обнаружился, да и того исполосовала жизнь – страшнее не скажешь.

Еще одно поучение деда запомнил Лаврик: когда человек сам себе хозяин, он ни перед кем шапку не ломает, только перед Господом. Не получилось. И в колхозе всем кланялся, и в армии рядовой необученный, если бы в рот ложкой столько раз за день, сколько руку к козырьку. Зато на любовь ему везло. В сенокосную пору последнего предвоенного года женился на Фросе, девке боевой и красивой, а перед осенью поехали с братом Филей в тайгу шишку кедровую бить. Филя хитрый, прихватил бадейку самогонки, купил у местных татар пять мешков чистого ореха и три дня гулял, оставив брата у старого знакомого Естая. Три

дочери у Естая, два сына, всех приберет война. Но Лаврик увидел младшую, красавицу Лейсан, и она полюбила его, и он забыл, что женат, три ночи провели на толстой кошме под кедрами, тайга слышала татарские и русские любовные слова, слышала смех и вздохи, поцелуи и почти детские хихиканья. Это Лейсан боялась щекотки. Они были наги и невинны, над чем Филя хохотал всю обратную дорогу. Они встретятся на фронте, полевые связисты Лаврик и Лейсан, чтобы через час он рыдал над истерзанным осколками девичьим телом.

Это только начало. Его комиссуют, а Фрося уже живет с другим. Брат Филипп дезертир, Лаврик хочет его спасти и фактически сдает органам. Он проклят матерью, и в это время встречается Естая. Одиноким старик зовет Лаврика в свой дом. Нахлынувшие воспоминания сводят его с ума, и однажды в минуты жестоких болей перед ним открылся простор, в котором свободно парила Лейсан. Они снова были вместе, и уже не было на земле человека счастливее Лаврика. Судьба вновь сводит его с Фросей, но метущаяся душа протестует: «А Лейсан?» Лаврик опять в бреду, он повторяет имя любимой, и Фрося, разумная русская баба, узнав от мужа эту сказочную историю, просит согласия Лейсан носить ее имя и получает его. Кажется, жизнь налаживается, Естай пьет чай, молодые ждут ребенка и управляют со скотом, его много в загонах старого татарина.

Но такая история не может закончиться идиллией. Будет стычка с бандитами, которые пытались угнать скот, будет предвзятое милицейское расследование и арест, будет побег. Куда? В дом убитого бандитами Естая Лаврик не придет. Обезумевшая от ожиданий Фрося вдруг счастливой улыбкой встречает очередной наряд милиции, проверяющий, не явился ли беглец. Она уже знает, Лейсан шепнула ей на ухо, что Лаврик рядом, и они будут прилетать к Фросе, чтобы нянчить общего ребенка.

Лаврентий Акимушкин – носитель русской идеи добра для мира, для всех людей, но его обнаженная доброта вызывает смех, грубость, хамство окружающих. Он не умеет что-либо этому противопоставить, и потому страдает. Видения его столь реалистичны, что он сам верит: сегодня снова приходил убитый ротный и уже в который раз домогался, накормил повар солдат перед боем или нет? Пришлось сказать старшему лейтенанту, что война закончилась нашей победой, чтобы он ушел довольный. Филя, застреленный милиционерами при аресте, тоже приходил, брата простил, потому что не предал он, а по простоте своей привел легионеров. Крестный Савелий Платонович, полковой комиссар на фронте и секретарь райкома на родной земле, арестованный по навету, тоже являлся и говорил о жизни.

Для Лавруши Акимушкина подобное существование в двух измерениях, в двух ипостасях – единственно возможная форма жизни. Не открой перед ним небеса Лейсан, он умер бы от вполне закономерной мозговой болезни. Вторая жизнь сделала его человеком с будущим, он улетал в светлое и теплое пространство, где парили Лейсан и ее сестры, и возвращался из обморока счастливым человеком.

Вопрос об уместности в реальной жизни обнаженной доброты остается открытым. Смерть одного человека еще не может служить основанием для глобальных выводов, но и она может подтолкнуть к размышлениям: а что – если...

Думать надо. Думать никогда не поздно.

Николай Ольков предложил читателям повесть неожиданную и, я бы сказал, странную. Строгий реалист, знающий все закоулки быта, нравственности, жизни вообще, он уходит от общепринятых приемов и ставит своего героя в обстоятельства и состояния, близкие к безумству. Причем делает это так аккуратно, что только потом, когда пройдена уже половина пути, вдруг понимаешь, с кем имеешь дело.

Такая форма потребовала особой стилистики и языка. Не сразу замечаешь, что не герой говорит о себе, что это не повествование о событиях и людях, а автор все время напоминает Лаврику, что было, что надо делать, помогает вспомнить. Неожиданная форма не вызывает протеста, она воспринимается читателем вполне естественно. После повестей «Гриша Атама-

нов» и «Глухомань», романов «И ныне и присно», «Сухие росы», после «Книги любви» можно уверенно говорить, что писатель Николай Ольков имеет свой уникальный язык и оригинальный стиль, который делает его неповторимым и узнаваемым.

Новая повесть «Чистая вода» только что опубликована, она заставляет размышлять о жизни вообще и о сегодняшней в частности. Трагедия традиционной русской крестьянской семьи в новых условиях бытия показана писателем резко, сочно, она очень правдива и потому ранит сердце каждого.

Николай Ольков от природы одарен чувством слова, оно развито не у каждого пишущего, и потому особенно ценно. Умение осязать слово рождает стиль, манеру, то, что отличает автора от всех остальных. После первой же книжки «И ныне и присно» я мог безошибочно определить автора. Вот это запев, начало, многообещающее начало:

«Тысячи гроз прогремят над Зареченькой и тысячи дождей омоют ее, многие поколения родятся и закончатся на этой земле, прославив ее многими плодами крестьянской работы и отважной дерзостью на бранном поле. Река все так же тиха и напориста, радостная в своей синеве; Гора холодна и хмура, все так же огрызается оголенными провалами логов и оврагами; зареченская долина горда зеленью трав и золотом хлебных полей. И многоликая жизнь проносится надо всем, вечная и бесконечная...»

Его слово просто и понятно всякому, живя среди народа, он приводит в литературу многое, уже забываемое под давлением сухой культуры. Причём это не демонстрация или вычурность, а естественный процесс, и он приятен, слово ласкает слух, слово возрождается и может вернуться в сельский обиход.

Проза Николая Олькова пронизана юмором и иронией, но это не та «ироническая проза», заполонившая книжный рынок. Здесь всякое дерзкое слово к месту.

Идет собрание по роспуску совхоза, выступает ветеран, местный балагур, его пытается одёрнуть представитель власти и называет дедом:

«— Какой я тебе дед? Ежели бы у меня был такой внук, я бы удавился в ближайшем туалете, чтобы приличные места не осквернять... Ваш брат премного преуспел, как говаривал наш парторг Володимир Тихонович, не тем к ночи помянутый.

— Он что, умер? — испугался кто-то.

— Живой, но дело его погибло. Сейчас вот вроде поминок справляем».

Автору легко даются диалоги, хотя точнее следовало бы сказать, что они читаются легко, с головой выдают героев, их характеры, настроения. В разговорах героев много действия, они динамичны, сильно продвигают повествование, несут большую информационную нагрузку.

Вот описание деревенского застолья по поводу возвращения с фронта солдата из повести «Сенокосная пора»:

«Михаил уже выпил за встречу с домашними, с соседом, теперь сидел за столом красный, потный, поминутно рукотёртом вытирал лицо и грудь, гремя медалями.

— Сынок, ты сними гимнастерку-то, жарынь такая, — заботилась мать.

— Нельзя, маманя, — смеялся Михаил. — Я же еще солдат, поскольку состою на воинском учете. Да и народ пусть посмотрит, что сын у тебя в окопах не сосредотачивался, а всегда шел в авангарде.

— Грамотный Мишка стал, — дивились соседи. — Будет теперь Настя, как за каменной стеной.

— Женить его надо.

— А может, он на производство пойдет.

— Не пустят из колхозу...

— Хорошо — спросит, а то сам уйдёт...

– Мне, товарищи дорогие, и в деревне места хватит, – услышал разговор Михаил. – А с женьбой я не тороплюсь. Дурное дело – не хитрое. Тут, поди, девок понапрело без нашего брата – ого-го-го! Я вот как стемнеет – возьму гармошку, сделаю разведку боем, поближе прощупаю позиции противника.

Застолье захохотало...».

В интеллигентствующих кругах в последнее время модны дебаты о предназначении литературы, должна ли она только описывать, или, как при коммунистах – воспитывать. Пустые, в общем-то, разговоры, но прочитал книги Николая Олькова и ещё раз убедился: всякая книга воспитывает, только вот чему – это второй вопрос. Добру и ещё раз добру учит проза сибирского писателя, у него это слово повторяется часто. Ещё стыдливости: в отношениях, в чувствах, в обстановке. Тоже почти забытое слово, а ведь стыд по В. И. Далю – «нутряная исповедь перед совестью».

Я рад, что познакомился с творчеством яркого и самобытного русского писателя, что имею возможность передать ему это свое мнение для публикации, если на то его воля. Уверен, что столь серьезная литература не должна быть местечковой, региональной, и книги Николая Олькова найдут дорогу к большому читателю нашей страны.

***Виктор Нелюбин***

критик.

Москва.

## И ныне и присно

### Роман

*Стане, Анастасии, с душевным трепетом посвящаю*

Река долго, тысячи лет и тысячи километров, разбегалась по дикой, необжитой народом степи, чтобы, в предчувствии скорого исчезновения, напрячь накопившиеся силы и метнуть их в мощном броске на Гору, отринуться, понять безнадежность усилий, и тогда попытаться уйти от неизбежного уже слияния с важными водами Большой Реки. От угрозы раствориться в этих водах и течь дальше вместе под чужим уже именем, Река, оттолкнувшись от Горы, хотела было повернуть вспять, но своеволия испугалась, заложила широкую, неохватную петлю, внутренний берег размыла и низвела до заливного луга, внешний возвысила, обустроила, украсила логами и оврагами, вырастила березовые леса, населив зверем и птицей, набросав в них охапками кусты смородины и малины, россыпи ежевики, костянки и клубники с земляникой, спрятав выводки груздей, опят и обабков.

Человек, ступивший на край Горы, обомлел от невиданной красоты, кликнул сотоварищей, и молча стояли они у края, обозревая, сколь видно было, желанное место. Умыли лица своей чистой водой незнакомой Реки, поклонились Востоку, и охнула от прикосновения топора белая береза, которой суждено было лечь в оклад первой избы. И назвали то место Зареченька.

Седой зимой через убранные суметы снега с трудом протискиваются лоси и козы, направляясь в подлески, где вихревой ветер озорно выметает опушки, оголяя засохшую траву, малый кустарник и золотой березовый лист, который тоже годится в пищу, если неволят морозы и падера. Кабаны семьями выходят на кормежку, поросятки хрюканьем и повизгиваньем ободряют отца, который буровит снежную залежь, разрывая уже промерзшее одеяло осоки и шумихи, скovyривает кочки, и молодняк беззаботно отыскивает корешки, похрумкивает лакомством, взметнув бирьки и сладострастно прищурился глазами, а мамаша чутко пронюхивает воздух, отыскивая признаки человека или волка.

Лютый зимой небо опускается так близко к земле, что соединяются в едином порыве снежная круговерть и незримая пыль облаков; солнце не находит сил, чтобы разорвать это месиво, оно злится, краснеет и порой удаётся ему кинуть свой суровый взгляд на своевольную стихию; а если нет – чудные дива случаются в небесах: солнце разведет по обе стороны от себя собственное отражение, и тогда всему живому на земле явятся три солнца, чтобы утратить зверя, напугать птицу, смутить думающего человека.

Зато летом, когда схлынет разлив Большой Реки, и обнажатся размашистые луга, буйно идет в рост все живое и зеленое, изумрудностью подернется местность, звери спустятся с Горы на приволье, выведут весеннего рождения детенышей и будут кормиться тут, пока Человек придет и заявит свои права. Человеку тоже полюбились эти места, он распахал гривы и засеял злаками, он тысячи скота развел на вольных кормах, он дома поставил и объединил их в деревни, он храмы возвел посреди села с гулким колокольным звоном. Человек придет и спугнет зверя, выкосит все ложбинки и низины, наметит округлые стога, высокой изгородью защитит свой труд от звериного озорства.

Тысячи гроз прогремят над Зареченькой и тысячи дождей омоют ее, многие поколения родятся и закончатся на этой земле, прославив ее многими плодами крестьянской работы и отважной дерзостью на бранном поле. Река все так же тиха и напориста, радостная в своей синеве; Гора холодна и хмура, все так же огрызается оголенными провалами логов и оврагами;

зареченская долина горда зеленью трав и золотом хлебных полей. И многоликая жизнь проносится надо всем, вечная и бесконечная...

# 1

В первый день православного Рождества молодой человек, совсем еще подросток, вместе с родителями только что прибывший из Варшавы, вернулся из ближайшего костела со службы, позавтракал и вышел в сад Царскосельского дворца, где семейству были отведены комнаты. Для тринадцати лет был он довольно высок, строен, чист лицом, серые глаза и прямой нос делали его взрослее и серьезнее. Отца, как знатока важных старинных документов, Государь лично пригласил вместе с семейством служить при дворе, занимаясь только что найденными в архивах бумагами, их следовало привести в порядок, частично перевести и дать толкование Императору. О важности сих бумаг юный Бронислав думал менее всего, его восхитил Петербург, зная по гравюрам все сколько-нибудь выдающиеся здания и памятники города, он узнавал и Медного Всадника, и Адмиралтейский столп, и Невский проспект, но как широко открылись они его взорам, как далеко вышли за пределы книжных познаний!

Он прошел по хорошо очищенной от снега липовой аллее, глубоко вдыхая воздух незнакомомого и родного города, в памяти роились десятки строк русских поэтов о зиме и снеге, но ни одну не мог он поймать, чтобы остановить все стихотворение! «Какая прелесть!» – он сел в беседку, думал и о снеге, и о новом для него празднике, и о городе, в котором предстояло учиться и жить неизвестно сколько. И как круто иногда разворачивает человека судьба, он был в Варшаве, учился в гимназии, занимался языками и отцовской исторической наукой, но где-то что-то меняется, в интересах Империи нужны какие-то меры, и вот вся семья едет в чужие края, хотя и в столицу. Отцу не очень хотелось, но указ был именно, потому выполнение необходимо.

Бронислав не сразу заметил невысокую девочку в расшитой шубке и шапке с соболиным хвостом, которая шла по аллее в сопровождении дамы средних лет, изредка подбегала к высокому снежному брустверу, ухватывала пригоршню мягкого снега, лепила комочки и бесцельно бросала их в сторону раскричавшихся ворон. Бронислав вышел из беседки и поклонился дамам.

– Мадам, я не знаю этого мальчика. Кто он? – звонким голосом спросила девочка.

– Ваше Высочество, это неприлично! – зашипела воспитательница.

– Ничего не нахожу неприличного, я девочка, а не дама, к тому же, мы не на балу. В моей аллее именно в час моей прогулки появляется незнакомый мальчик, и я хочу знать, кто он. Что тут неприличного? Ну-с?! – обратилась она к покрасневшему незнакомцу. Он уже понял, что перед ним одна из Великих Княжен.

– Меня зовут Бронислав, мы только что прибыли из Варшавы.

– Замечательно! Это вас поселили с северной стороны дворца?

– Право, не знаю, я еще не ориентируюсь, где здесь север.

Девочка залилась веселым и громким смехом:

– Север здесь в том же направлении, что и в Варшаве. Мое имя Анастасия. А вас я буду звать Броня, нет, просто Боня. Вы не возражаете?

– Нет, Ваше Высочество!

– Ну, вот, и тут то же самое! Даю вам право звать меня по имени. Приходите после обеда к пруду, солдаты сделали горки и каток, ведь сегодня Рождество. Вы католик?

– Да, Ваше Высочество.

– Все равно приходите, будет праздник.

Воспитательница опять вмешалась:

– Праздник устраивает Государь, и Вы не можете приглашать без его согласия.

Анастасия ответила резко:

– Папа разрешил мне приглашать, кого захочу. Вы мне надоели, я убегаю.

И она понеслась по аллее, оставив не очень расторопную воспитательницу.

Бронислав был поражен, все случившееся казалось ему сном, наваждением. Лицо Анастасии, челка каштановых волос, выбившаяся из-под шапки, большие голубые глаза, четко очерченные губки, приглашение, которым он не знал, как воспользоваться. Дома обо всем рассказал отцу.

Пан Леопольд Лячек был очень крепкий сорокалетний мужчина, густые с сединой волосы зачесывал назад, ходил прямо и гордо, лицо брил, при работе надевал очки, и они закрывали его густые брови и темно-серые глаза. В суждениях, как всякий ученый, был резок, компромиссов не признавал.

– Ты поступил недостойно, сын мой, в тринадцать лет следует знать, что неприлично как бы случайно оказываться на пути дамы. Я полагал бы на праздник не ходить, не думаю, что твое отсутствие будет замечено, а вот явление может вызвать нежелательные разговоры. Мы поляки, сын, и не нужно этого забывать.

Чтобы не переживать, Бронислав совсем не выходил из квартиры. Он смотрел в окно и представлял княжну Анастасию на катке и высоких горках, которых вообще никогда не видел.

Утром следующего дня отец привел в дом пожилого мужчину, представив его учителем языков. Мужчина был слегка помят, безразличен и хмур.

– Сын, это господин Синиэль, Жан Саниэль, знаток языков, он сейчас не в духе после праздника, но весьма образован и способен к передаче знаний. Приглашен был для обучения младших детей Государя, но проявил свою слабость, и отвергнут. Мне разрешили взять его. Господин Саниэль, моего сына зовут Бронислав, скажите еще раз, какие языки вы будете давать.

Француз пожевал губами и начал перечислять:

– Европейские почти все, без скандинавских, латынь, если изволите, иврит или идиш, на выбор. Продолжать?

– Хорошо, об условиях мы договорились. Завтра можете приступать.

Три раза в неделю по три часа Бронислав с Жаном отдавали занятиям, через месяц решено было остановиться на французском, испанском, итальянском и русском, еще латынь и арамейский, на древнем семитском настоял отец, считающий обязательным знать язык Господа своего.

Потом стал приходиться учитель математики и естественных наук, отставной профессор Петербургского университета Маковцев. Георгий Михайлович отметил большие способности своего ученика и заверил мальчика:

– Через пару лет вы успешно выдержите экзамены в университет, это я вам обещаю.

Бронислав выходил на прогулку дважды: днем и уже в темноте, очень хотелось увидеть Анастасию, но он боялся появляться в аллее в час ее прогулки. В этот раз он оделся очень легко, предполагая пройтись вдоль дворца несколько раз и вернуться к занятиям: языки требовали усидчивости.

– Так вот вы где! – услышал он знакомый голос, и сердце застучало прямо в горлышке: Анастасия! – Почему вы, сударь, не соблаговолили явиться на праздник в Рождество и теперь скрываетесь от возмездия уже месяц?

Она стояла перед ним одна, без сопровождения, невысокая, коренастенькая, улыбчивая, голубые глаза ее беззаботно радовались. Он молчал. Ее устраивало его смущение, она наслаждалась властью над этим странным поляком.

– Вас не пускают из дому? – вдруг спросила она.

– Что вы, вовсе нет, я много занимаюсь, и потом... Я так бестактно вел себя там, в аллее, простите мою невоспитанность.

– Господи, и вы о том же. Все хотят воспитывать, а я хочу жить и радоваться. Когда я купаюсь в пруду, только папенька может меня оттуда вынуть. Или влажу на дерево. Да, я лазаю по деревьям не хуже мальчишек. Мне так весело, что все внизу просто от страха за меня повизгивают, а я вижу весь мир вокруг значительно больший, чем они, несчастные. Потом приходит папа и командует. После обеда мы гуляем в саду, почти в любую погоду, присоединяйтесь к нам, мои сестры очень добрые и красивые. Наследник часто болеет, потому у него особый режим. Жду вас завтра в аллее.

И она побежала в сторону парадного подъезда.

Бронислав только теперь почувствовал, что продрог, дома мама сделала ему компресс и растерла водкой ноги, но к ночи поднялась температура, мальчик бредил, произносил странные слова из только что заученных, утром температура снизилась, он спал весь день. Вечером отец сел у постели:

– Надо быть осторожней, сын, это Россия, простуда – самая распространенная болезнь русских. Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо, папа, но я хочу тебе сказать, что скоро будет война, я знаю это от канцлера Вильгельма.

– Матка Боска! – взмолился отец. – Откуда взялся канцлер? Он приснился тебе?

– Нет. Просто я его видел и узнал, что война с Россией начнется этим летом, все как-то связано со смертью Франца-Фердинанда.

Леопольд обнял сына:

– Маленький мой, тебе это привиделось в бреду, у тебя был жар, успокойся.

– Я спокоен, папа, – сказал сын слабым голосом и снова уснул.

Когда он через две недели появился в аллее, все четыре княжны: Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия прохаживались, тихонько о чем-то говоря. Мальчик скользнул в беседку, но был замечен.

– Боня, я жду объяснений. Представляете, назначила молодому человеку свиданье, а он уже дважды не явился. Что мы с ним сделаем?

Старшие улыбнулись, раскланялись с потрясенным мальчиком и оставили детей одних. Татьяна предупредила:

– Стана, ждем тебя через четверть часа.

Анастасия вошла в беседку:

– Как все мило, скоро весна, вы это чувствуете? Вы болели?

– Да, я простудился.

– Ах, это, очевидно, в тот случай, простите меня, я видела, что вы легко одеты, но не подумала о последствиях. Наследник тоже лежал в эти дни, в доме очень тяжело. Его спасает старец Григорий. Как ваши науки?

– Мои учителя не дают покоя, считают, что через два года можно сдавать в университет.

– Да, вы будете студентом, в гуще молодежи, а мы обречены дожидаться своих принцев дома. Папенька только следующей зимой выведет в свет Ольгу и Татьяну, это он уже объявил, а когда до меня очередь дойдет?

– Григорий – это кто?

– Святой. Да, святой человек, он многих пользует, а для Алеши просто спаситель, у него очень нехорошая болезнь. Григорий крестьянин, из глубины Сибири, в нем сила и дар от Бога. Все, довольно, я побежала, сестра у меня строгий воспитатель. Когда вы придете?

– Наверное, через три дня.

– Прощайте! – и она опять резво побежала по аллее, оставляя ему приятные воспоминания и тревогу от странной новости: Григорий. Надо спросить отца.

Дома ему вдруг сделалось дурно, он хотел было позвать маму, но почти без чувств опустился в кресло, и сильная боль с волнами набегавшим шумом сжала его мозг. Он оставался

в сознании, оно путалось, какие-то новые мысли проносились и исчезали, новые лица мелькали, как в кинематографе, он едва успевал узнавать: Государь, царица, княжны, наследник. Потом Анастасия, в слезах. Далее какие-то люди, мертвые тела, простыни, запах серы. Бронислав закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Ему стало легче дышать, но в голове был беспорядок. Он не мог дать толкование, что с ним, откуда эти картины и эти мысли, именно мысли, не было же никаких слов, но он странным образом знал, что видел... их гибель.

– Мой Бог! – прошептал мальчик. – Избавь меня от этой кары, я ничего не могу понять, ничего не хочу знать, я очень болен.

К приходу отца он оправился, занимался математикой, когда тот вошел в его комнату.

– Папа, видимо, я болен, в моей голове не все в порядке. Я уже говорил тебе о войне, сегодня еще более страшные известия. – Он сам испугался этого определения, потому что оно показалось ему наиболее точным: известие, кто-то неведомый извещает его о том, чего не знает еще никто на белом свете. – Я не хотел бы говорить о содержании, оно ужасно. Может быть, в Петербурге есть хорошие доктора, папа, я боюсь. И сегодня я узнал о старце Григории, кто это, он действительно чародей? Может быть, следует обратиться к нему?

– Боже тебя сохрани от общения с этим человеком! – испугался Леопольд. – Это страшный человек, в нем действительно есть сила, но никто не может твердо сказать, от кого она. Недаром его фамилия Распутин. Это страшный человек! Тебе не надо его знать.

В тот же день Бронислава на выходе из дворцовой ограды через главные ворота обогнала запряженная тройкой карета с открытым верхом, сидевший в ней бородастый мужчина в темной накидке и низкой шляпе, из-под которой распались в обе стороны пряди темных волос, резко повернулся в сторону и встретился взглядом с мальчиком. Карета уже пронеслась, когда раздался зычный голос:

– А ну, разверни!

Кучер придержал коней, карета катилась навстречу Брониславу. Он уже понял, что в карете сам Распутин.

– Остановись, юноша! – приказал тот голосом, которого невозможно было послушаться. – Подойди сюда. Молодец. Еще раз посмотри мне в глаза! Ах, ты! Все, не следует боле. Ты чей?

– Бронислав Лячек, из Варшавы.

– А папаша твой кто?

– Историк, он работает с бумагами для Государя.

– Приходи ко мне на городскую квартиру, поговорить с тобой хочу.

– Меня папенька не отпустит.

– Эка причина! Папенька сам тебя и привезет. Все, пошел! – И он привычно хлопнул кучера по спине.

Вечером Леопольд пришел домой в слезах. Ни жена, ни сын еще не видели его таким расстроенным.

– Я получил высочайшее указание сегодня после ужина поехать с сыном к Распутину. Бронислав, где он мог тебя видеть?

– Сегодня во дворцовых воротах, он проехал на тройке, потом вернулся.

– Он говорил с тобой?

– Только несколько слов. И велел посмотреть в глаза.

– Мой Бог, что надо этому человеку от простого поляка?

Жена Ядвига, никогда не выражавшая своего мнения и говорившая очень редко, к чему привык даже сын, вдруг подала голос:

– Что плохого успел ты узнать о старце за месяц жизни при дворе?

– О, если бы ты знала хоть сколько! Это сам дьявол, он пьяница и развратник, но обладает некой темной силой, удачно лечит гемофилию наследника и тем вырос в глазах императрицы. О нем говорит весь Петербург.

Карету подали сразу после ужина, Леопольд долго молился, обнял жену, поцеловал сына. Мальчик не понимал столь высокой взволнованности отца.

Молодая женщина провела их в квартиру Распутина, которая показалась Брониславу тяжелой и запущенной. Старец вышел к ним в роскошном халате и стоптанных башмаках, пригласил сесть, сам откинулся на большую продавленную тахту. Бронислав со страхом и любопытством на него смотрел: фигура крепкого мужика, широкоплечего, мускулистого; неопрятен, самоуверен, длинные темные волосы ниспадают по обе стороны головы, прикрывая бледное узкое лицо, заросшее беспорядочной бородой, даже крошки пищи показались мальчику в спутанных волосах. Но глаза этого человека поразили гостя: большие, светлые, сверкающие, пронизывающие и ласковые.

– Пан, я тебя позвал, чтобы ты согласился парня своего отдать мне в ученики. Помолчи! Я сегодня первый раз его увидел и нашел в нем способность. Ну, это уже мое дело. Так отдашь?

– Милостивый государь, – церемонно начал Леопольд, но Распутин перебил его:

– Я не о милости прошу, а ради твоей же пользы. Ты не замечал за парнем ничего необычного?

– Нет! – соврал пан и покраснел.

– Ты пошто врешь мне, святому человеку, я же тебя насквозь вижу! Парень твой одарен особой способностью, какой нету у простых людей. При мне он будет присмотрен и в рамках, пока я жив, никто до него не коснется, но ты учти, что акромя меня тьма желающих заполучить такой подарок.

Потом повернулся к Брониславу, который все время молча сидел в кресле и наблюдал за старцем:

– Скажи мне, сынок, тебя пугают догадки какие-то, мысли незнакомые, не свои?

– Да, сударь.

– Я же говорю! – торжественно воскликнул Распутин. – Анна, мадеры!

Та же женщина внесла поднос с тремя бокалами и бутылкой вина, старец мастерски ее откупорил, налил всем по полному:

– За наше сотрудничество во имя Государя Императора и Святой Руси!

– Подождите, пан Распутин, – отец так и не взял наполненный бокал. – Мы ни о чем не договорились. Давайте начнем с того, что если и есть в моем сыне какие-то особые способности от Господа нашего, как могу отдать его вам, православному, человеку иной веры?

Распутин громко расхохотался:

– А как же ты, польская твоя сущность, определил, какому богу я молюсь, если мне самому сие неведомо? Вот что, пан, по приезде во дворец буду вызывать твоего парня, и не вздумай перечить. А пока прощевайте. Анна, проводи!

Несмотря на большое смущение и даже страх, Леопольд возмутился:

– Умеют же русские сотворять себе кумиров! Старец! Я думал, действительно, старик, а он моим летам ровесник!

Бронислава не особо заботили предложения Распутина и реакция папеньки, он все больше растил в своем сердце алую розу почитания и боготворения Анастасии, которая, как ангел небесный, опустилась перед ним, чтобы смутить и испытать его душу. Он был совершенно уверен, что Господь все продумал за них и свел здесь, в неожиданном Петербурге, чтобы она, красавица и шалунья, вторглась в его размеренную жизнь, измяла ее, возмутила, заставила беззаботного подростка страдать и чувствовать. Завтра надо бежать в аллею, она придет, светлая, как наступившая весна, в легкой накидке, с распущенными богатыми своими волосами, непременно с зонтом от яркого солнца. Если с нею будет воспитательница, разговора и вовсе не получится, да и не будет никого – не намного смелее станет влюбленный мальчишка. И тогда он придумал: письмо! Во всех романах именно письмо выручало молодых людей, когда они лишены были возможности говорить откровенно. Бронислав сел, развернул лист бумаги

и замер с пером в руках над белым его пространством. Еще мгновение назад все казалось так просто, а перо не хотело касаться листа, потому что автор так и не нашел еще первого слова. Он хотел обратиться, как и положено: «Ваше Высочество!», но такое показалось ему черес-чур официальным, да и сама Анастасия несколько раз возмущенно отвергала подобное обращение, вздернув губку: «Ну, вот еще!». И тогда он написал:

«Княжна Анастасия! Не имея возможности каждый день видеть Вас и говорить с Вами, я страдаю и остаюсь один на один со своими чувствами. Вы обратили на меня свой взор, сделал обыкновенного человека счастливейшим из всех, и я бы не хотел злоупотреблять Вашим вниманием ко мне, которое, возможно, для Вас ничего и не значит. Мои занятия и желание поскорее закончить подготовку не оставляют времени на праздные размышления, но Ваш образ всегда со мной, он в душе моей, и ничем уже теперь его оттуда не вынуть. Я передам Вам это письмо при встрече, и, если это позволительно, просил бы милостиво ответить мне письменно. Преданный Вам Бронислав Лячек».

Вопреки опасениям, Анастасия была в аллее одна, воспитательница сидела с книжкой в дальней беседке. Не доходя нескольких шагов, молодой человек остановился и чопорно поклонился даме. Княжна улыбнулась и тоже кивнула.

– Давайте будем гулять, сегодня такой воздух! Наши все ушли к пруду, смотрят, как садится лед. Вы должны ценить, что я отказалась от столь интересного зрелища ради встречи с вами. – Она кокетливо посмотрела на него.

– Благодарю вас, Ваше Высочество!

– Прекратите сию минуту! Я же разрешила называть меня по имени, тем более, когда мы одни. Я вас зову Боня, вы меня... Настей, так будет приличней. Меня домашние зовут неожиданно и мило – Стана, все буквы в имени местами переставили, получилось забавно, но это только для очень близких, вы не обижайтесь. А еще мы из первых букв своих имен составили коллективное имя для всех сестер: ОТМА – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Ну-с, довольно. Что еще интересного в эти дни случилось, расскажите, страсть люблю новости.

– Я был вместе с папой в гостях у Распутина.

– Вот как? Отчего такая честь? Что он вам сказал?

– Пригласил он потому, что заметил во мне какие-то способности, сказал, что берет меня к себе на воспитание и для развития этих способностей.

– А способности какие? Боня, не томите душу, у вас есть выдающиеся способности, а я об этом ничего не знаю! Это не честно!

– Право, не знаю, как сказать, Распутин видел меня всего мгновение, и сразу остановил карету, говорил со мной минуту, а вечером вызвал к себе. Понимаете, мне стали являться некоторые картины будущего, возможно, это бред, сон, фантазии, но Распутин настаивает.

– Вы согласились быть его учеником?

– Папенька категорически против. К тому же я готовлюсь в университет, мистика меня не интересует, я хотел бы основательно заняться русской историей и языками.

– Боня, я могу об этом рассказать сестрам или маме?

Бронислав смутился:

– Не уверен, Княжна, что это следует предавать огласке.

Она обрадовалась:

– Хорошо, пусть это будет нашей маленькой тайной.

– Княжна Анастасия!

– Настя!

– Княжна Настя!

– Вы неисправимы! Продолжайте, а то забудете, что хотели сказать.

– Как можно! Я многое хотел вам сказать, но доверился бумаге и передаю это письмо.

– Благодарю вас. Если сочту нужным, отвечу и пришлю лично вам прямо завтра. Чур, уговор: письма прятать как можно лучше, если сестры узнают о нашей переписке, я получу внушение. Мамочка очень строга к этому. Прощайте!

И она тихонько пошла в обратную сторону, предоставив ему несказанное счастье еще раз пройти по ее следам, оставленным на не совсем просохшей дорожке.

Молодой человек еще не мог знать тогда, какое чудесное, единственное в природе человека состояние переживает он, какие изумительные по чистоте и силе подсознательной памяти дни и ночи, ибо и ночами Она виделась ему светло и радостно, и отношения эти, и дневные редкие, и почти постоянные ночные, отличались от суетности и обыденности бытия, наполняли жизнь и сны похожими ощущениями непреходящего счастья. Бронислав три дня в неделю, когда удавалось видеть Княжну и говорить с нею, считал самыми главными в своей жизни, он нисколько не думал о завтрашнем, будучи безо всякого сомнения уверенным, что все выполнит, постигнет науки, заработает средства, сделает имя – все, чтобы быть достойным самой лучшей барышни на земле. Он помнил грустные слова Анастасии, что их удел – дожидаться во дворце своих принцев и сделать брак не результатом чувств, но инструментом политики, но он знал из европейской истории немало примеров, когда даже наследные принцы отказывались от короны во имя любви, и были счастливы. В его мечтаниях образ веселой шалуньи и несравненной красавицы был всегда рядом, и никакая фантазия не могла заставить его допустить, что все может быть иначе.

Мальчик-слуга принес ему на серебряном отцовском подносе пакет с царским вензелем:

– Пан, вам письмо от Ее Высочества, только что принесла из апартаментов ее фрейлина.

Бронислав вскрыл письмо:

«Боня, можете мною гордиться, я сама рассказала маме о нашем знакомстве, она строгая, но справедливая, и сестры мои, всегда буду им благодарна, отозвались о наших встречах в самых лучших тонах. Потому сегодня приглашаю вас к вечернему чаю, который имеет быть в пять часов вечера. Будут сестры и наследник, я ему сказала о вас, он жаждет познакомиться. Анастасия».

Он забросил уроки и стал выбирать костюм для визита, мама была перепугана и все время подсказывала некоторые детали поведения за чаем. Едва дождавшись половины пятого, Бронислав пошел к парадному, но тут же был встречен незнакомой барышней чуть старше Анастасии:

– Простите, сударь, если вы пан Лячек, то мне приказано передать вам извинения Ее Высочества княжны Анастасии. Вас не могут принять, потому что в доме несчастье, мне разрешено сказать вам под секретом: неожиданно заболел цесаревич Алексей. Княжна завтра в одиннадцать будет в аллее. Извините, я спешу.

Удрученный Бронислав повернул было обратно, но мощный и хорошо знакомый голос остановил его:

– Паныч, я очень спешу к больному царевичу, обожди меня тут, ты мне крайнехонько нужен.

Распутин в холщовой крестьянской рубашке, широких шароварах и хромовых сапогах, домашний и деревенский, нелепо смотрелся в Царскосельской роскоши, но Бронислав понял, что его привезли таким, каким застали в квартире или в гостях. Странно, но старец не пугал молодого человека, в отличие от отца, он не видел ничего такого, что могло бы препятствовать их общению. Прошло более полчаса, прежде чем Распутин появился в дверях:

– Иди сюда.

Бронислав поднялся по ступеням. Офицер охраны хотел было что-то сказать, но старец отвел его взмахом руки.

– Иди за мной.

Они прошли коридорами через две залы, Распутин отворил огромную дверь в довольно просто обставленную комнату.

– Здесь будем говорить, царица отвела мне этот угол на случай, если придется заночевать. Ну, тебе об этом знать не надобно. Так вот, милай мой. Ты, определенно, слышал, что я непростой человек, а Божий, мне многое дано, вот сейчас наследнику кровотечение остановил. Доктор Боткин не мог, а я сделал. Евгений Сергеевич ученый человек, а я крестьянин. Ну, довольно об этом. Тебе видения были, какие, скажи? Сон ли являлся или в сознании происходит?

– В сознании, но в болезни, а то и в огорчительных моментах.

– Что видишь, слышишь?

– Вижу лица, чаще знакомые, просто по портретам, слов не слышу, только мысли, то есть, знаю, что они знают.

– Вспомни один момент, к примеру.

– Видел канцлера Вильгельма, потом принца Франца-Фердинанда, потом стал знать, что принца убьют, и потому начнется война, нынешним летом.

Распутин вскочил и стал нервно ходить по комнате.

– Пан Распутин, не нужно этому придавать значение, я в тот день был в горячке, возможно, это бред.

– Если бы, паныч, если бы. Не могут одинаково бредить сразу несколько человек. Что еще видел, другие картины?

– Ничего существенного, в основном юношеские мечтания.

– Ах, как ты толково врешь! Хотя и на этом спасибо. Кто еще знает о твоих видениях?

– Только папенька.

– Скажи ему... А, впрочем, он и без того молчит, как камень. Потребуешься – найду сам. Беги домой, да хранит тебя Господь!

И он широким размашистым русским крестом осенил польского католика.

Анастасия еще раз прислала свою девушку, и Бронислав, наконец, отправился на чай. Анастасия встретила его на просторном крыльце, провела в малую столовую, где уже сидели и беседовали Ольга, Мария и Татьяна. Молодой человек поклонился, девушки привстали, приветствуя гостя, красивая и кокетливая Мария радушно улыбнулась:

– Бронислав, мы уже знакомы, так будьте проще, садитесь, теперь же подадут чай.

Анастасия села напротив гостя, спрашивала об учебе, о скорых экзаменах и тихонько о разговоре со старцем Григорием. Юноша столь же тихо отвечал ей через стол, и тихий этот, как бы полусекретный разговор, рассмешил сестер. Они встали, чтобы уходить, когда в залу вошла императрица в простом просторном платье, комнатных туфлях и с высокой прической. Бронислав вскочил и склонил голову:

– Мамочка, позволь тебе представить моего товарища Бронислава Лячека. Он с отцом прибыл из Варшавы, мы познакомились три месяца назад.

Александра Федоровна кивнула и попросила юношу сесть:

– Это о вас, точнее, с вами говорил старец Григорий Распутин?

– Да, Ваше Величество.

– Почему, скажите мне откровенно, вы не имеете желаний сотрудничать, или как это лучше сказать, быть вместе со старцем? Поверьте, он очень многому мог бы вас научить.

– Конечно, Ваше Величество, но этому противится мой отец.

Царица недовольно повела головкой:

– В интересах Империи и Государя ваш отец должен это сделать. – И уже совсем тихо, чтобы не слышали дети, добавила: – Старец находит в вас некую силу, которую наши враги могут использовать против России. Попробуйте внушить это своему папе.

Она встала:

– Дети, продолжайте прием гостя, я заберу Ольгу, она нужна мне для работы.

Когда царица вышла, Бронислав почувствовал, как он ослаб, ноги дрожали, чашка с чаем прыгала в его руке. Анастасия весело смеялась:

– Бони, успокойтесь, я же говорила, что мама знает о вас, потому нет ничего предосудительного, что вы у меня на чае.

Они еще несколько времени болтали о пустяках, пока Бронислав не услышал удары больших напольных часов: пора уходить. Анастасия проводила его до дверей, он осторожно наклонился к ее руке, но так и не посмел коснуться.

Вечером отец был очень взволнован, ходил по комнатам в своем длинном цветном халате и возмущался всем: и вмешательством в его работу каких-то людей из Иностранной коллегии, и уже второму визиту этого грязного развратника Распутина, который непременно требует отдать ему сына на воспитание, хотя пан Лячек искренне не может понять, чему способен научить юношу безграмотный и бескультурный мужик, которого эти странные русские почитают почти за святого.

– Ты только подумай, дорогая Ядвига, сегодня он ворвался в мой кабинет, сбросил со стула пачку ценнейших бумаг времен Ивана Великого, и рухнул на него, едва не развалив. Ты знаешь, что он мне сказал? Ты никогда не догадаешься! Ему, якобы, известно, что я выкращенный еврей уже в третьем поколении, и скрываю это, что он отнимет у нас сына, потому что в Брониславе есть некоторый талант, что вполне естественно, и тот талант зачем-то потребовался этому безумцу. Ты знаешь, он грозил отправить нас в Сибирь. Без сомнения, Распутин был нетрезв, но о Сибири он выразился достаточно уверенно. Меня это крайне волнует, Ядвига.

Жена пыталась его успокоить, что угрозы какого-то Распутина не могут иметь последствий для ученого, занимающегося изучением древних документов, а сына никто не может забрать без согласия отца и матери.

Но на другое утро в кабинет, где работал пан Лячек с помощниками, явился полицейский чин, вручил хозяину под расписку предписание Государя Императора в трехдневный срок отбыть в Тобольск для работы с документами, обнаруженными там в хранилищах Кремля.

– Но, Пресвятая Мария, тут еще столько дел, лишь самое начало! – заплакал пан Леопольд.

– Все будет опечатано и сдано на хранение, куда следует, это не ваша забота.

– Могу я узнать, чем вызвано столь срочное перемещение?

– Только не у меня, – важно сказал полицейский чин. – Я это предписание получил сегодня утром под строгим секретом. Трое суток, пан, я прослежу.

Бронислав был в смятении: уехать в Сибирь, так далеко от Анастасии, не иметь возможности видеть ее, слышать озорной и такой милый голос. Он вышел в парк, вошел в ту беседку, с которой и началось их знакомство, он был уверен, что она очень скоро придет сюда тоже. И она пришла, взволнованная, прямая:

– Бони, я все знаю от мамы, это старец внушил ей, что вы опасны, поскольку не желаете идти к нему в ученики. Мама настаивала, чтобы вас, в крайнем случае, отправили обратно в Варшаву, но старец был неумолим: подальше, в Сибирь! Вы же знаете, он оттуда родом, возможно, надеется там найти с вами общий язык. Бони, я буду писать вам письма.

– А я принес вам подарок, заказал давно, принесли на прошлой неделе, но все как-то стеснялся. Вот.

И он подал ей хрустальный флакон в форме пышного букета фиалок, внутри бутонов которых виднелась крохотная пробочка. Княжна заплакала:

– Бони, как вы узнали, что фиалки – любимые мои духи?

– Ваше Высочество, запах фиалок всегда окружает вас, даже в моих снах.

– Бони, мы еще столь юны, что не можем говорить о чувствах. Но я верю, настанет время, когда мы скажем друг другу все. Напишите мне сразу по приезде. А флакон этот с моим поцелуем – (она прижала к губам хрустальные цветы) – храните как память обо мне. Уверяю вас, все будет хорошо.

– Княжна!

– Прекратите!

– Дорогая Княжна! Выслушайте меня и не думайте, что я сумасшедший. Мне дано это знание странным путем, и о нем стало известно Распутину. Скоро будет война, потом еще какие-то события, и потом ваш путь тоже лежит в Сибирь. Я не могу вам этого объяснить, но нас ждет большое горе. Знаю только, что увижу вас еще раз. Видимо, за это знание ваш старец и невлюбил меня. Прощайте!

Он зарыдал и кинулся аллеей в сторону своего подъезда. Через два дня в мягком вагоне поезда под наблюдением молодого человека из полиции семья Лячеков отбыла на восток.

## 2

Тимоха Кузин после смерти отца, церковного старосты и уважаемого человека в селе, был принят обществом как хозяин, и мать его, крутая и властная женщина, терпеливо сносила все выходки сына.

– Ты пошто иконы не отдал комсомольцам, когда они приходили с религией бороться? – ворчала она. – Слышно, в самой Самаре с храмов кресты сбрасывают и иконы жгут прямо на паперти, а ты все поперек.

Тимохе шестнадцать лет всего, ростом не велик, грамоте обучен не особо важно, зиму в ликбез проходил, «рабы не мы, мы не рабы», плюнул, но расписаться мог. Зато отцовскую Библию и другие книги читал еще по родительскому наущению, как-то стал просматривать Откровения и испугался: вот он, конец света, все сходится! В уезде, сказывают, демонстрация вольных женщин проходила на днях, впереди всех совершенно голая шла с плакатом «Бога нет, и стыд долой!».

– Иконы трогать не позволю, – ответил он матери. – И в колхоз ихний вступать не буду.

– Заберут все, злыдень!

– Мое все со мной останется, – ответил Тимоха.

Трое местных активистов пришли раненько, чуть свет, не стесняясь, прошли в передний угол, старший вынул из кармана дождевика тетрадку:

– В колхоз, стало быть, не подаешь? А сколько сеять будешь?

– Сколь Бог даст.

Трое засмеялись:

– Он даст!

– Открывай шире рот, чтобы не промазать.

– Двойным налогом будешь обложен, как единоличник. Это первое. Второе. Мельницу и кузницу мы у тебя реквизируем в пользу колхоза, нечего на народном несчастье рожу наедать.

«Про несчастье ты правильно сказал, хоть и другое имел в виду, а насчет рожки ошибся, кроме добрых слов от людей мало чего нажил батюшка мой», – подумал Тимоха.

Отец Павел Матвеич мастеровой был, углядит где какую новинку, смотришь, а он уж дома такое сообразил, и Тимка тут же, рядом, присматривается, перенимает. Кузницу давно поставили, и по хозяйству что сделать, и для соседей, лемеха к плугам ковать наловчился, зубья боронные, в журнале высмотрел рыхлитель земли, соорудил такой же под парную упряжку. Мельницу сделал от ручного привода, зато жернова из Самары привез, тонко мололи, хлеб славный получался. С самой осени ни дня мельница не стояла, все кто-нибудь с мешком-двумя приедет: «Матвеич, смелем?». «Отчего не смелешь, если крутить будешь?». За услугу с мешка котелочек зерна, так, для вида, названье одно, а не плата. Мать ворчала, а он посмеивался: «У нас своей пашенички полные амбары, эту пойдя да курам вытряхни».

Ближе к обеду подъехали на подводе колхозники, по наряду, в глаза не глядят:

– Тимофей, откуль тут начинать, чтобы не нарушить?

– А с любого края, все едино ничего у вас работать не будет.

– Что уж ты так?

– Потому что правда. Увезете и сложите костром, все так и сгинет. Колхоз, он и есть колхоз.

Отсеялся Кузин вовремя, пашню заборонил, в ночь хороший дождь прошел. Как только застучали капли по оконным стеклам, встал Тимофей перед иконой Никола Угодника и молился до самого рассвета. Почитал этого святого больше других, потому что в раннем детстве явился Никола Тимке и его дружку Ваське, они за гумнами овечек пасли. Зима была суровая, все корма кончились, вот и отправили их отцы на вытаявших бугорках посторожить

овечек, может, хоть прошлогодней травкой попользуются. Овцы пасутся, а ребятишки на солнышке греются, и смотрят – мужчина идет со стороны оврагов, там и дорог-то никогда не было, да и не пройти, такие потоки талой воды несутся. А мужчина в фуфайке, на ногах ничего нет, и голова не покрыта. Проходит рядом, молчит, только один раз в их сторону посмотрел. Не по себе стало ребятишкам, собрали они овец и домой. Отец ворчит: «Какой мужчина вам показался? Кто в такую пору будет по степи бродить? Скажи лучше, что надоело, вот и пригнали овец».

А Тимошке страшно, он в дом вошел, козушок скинул, а взгляд чужой чувствует, поднял глаза: «Господи, вот же кто был, Никола Угодник был на гумнах». Мать выскочила на крик и перенесла на лавку обмякшее тельце сына. Отец уже спокойнее с ним говорил: «Босиком по снегу шел? И без шапки? А как же ты по иконе узнал? Лысый? И взгляд? Ты с ним глазами встретился? Господь тебя благослови! Лежи, отдохни маленько».

Утром пришел колхозный нарядчик:

– Велено обоим с матерью да пару лошадей с боронами на сев.

– А мы отсеялись еще вчера, – с вызовом ответил Тимофей.

– Ты Ваньку-то не валяй, я про колхозный сев говорю. Там еще начать да кончить осталось.

– Скажи своему истукану, что мы не колхозники и на работу нас наряжать не надо.

– Какому истукану, ты чего мелешь?

– Истукан – это идол был у язычников до прихода Христа, ему поклонялись. В колхозе теперь свой истукан, но я крещеный православный христианин, и в другую веру не обращаюсь.

– Ну, Тимка, не миновать тебе ГПУ, если слова твои передам, благодари бога своего, что я ничего не понял, скажу только, что ты отказался.

Все лето чуть не каждый день навещался Тимофей на свое поле. Пшеница взошла ровная и чистая, и раскустилась богато, и трубку выбросила. А когда колос стал наливаться, вовсе весело на душе стало: быть доброму урожаю!

В августе начали жать, мать вязала снопы, Тимофей составлял в суслоны, на гумно везти не торопился, потому что погода стояла сухая, зерно дозревало в колосе. Намолотили столько, сколь и при отце не бывало, глухой ночью Тимофей перевез десяток мешков домой, да не в амбар, а под крышу избышки на ограде, осторожно доски с фронтона снял, мешки поднял, старой соломой надежно укрыл и доски на место. Днем все зерно на гумнах в мешки ссыпал, одну подводу к колхозному амбару подвез. Председатель, присланный из Самары партийный счетовод овощной конторы, сосчитал мешки и усмехнулся:

– Не густо ты, Кузин, отгрузил родному колхозу.

– Сколько положено по квитанции, столько и привез. – Хотел добавить насчет родного колхоза, но воздержался.

Председатель открыл тетрадку, нашел нужную строку:

– Три десятины пшеницы, рожь, овес, просо. Так. С трех десятин ты не меньше трех сотен пудов намолотил, да поболе, у тебя хлеб хороший стоял. А сдаешь – десять мешков? Нет, не любишь ты советскую власть!

– Дак ведь и она меня не очень любит, гражданин председатель. Сказано товарищем Сталиным, что всякий человек волен жить так, как он хочет, а вы у меня мельницу разворотили, кузю сломали. Где они сейчас? У конюшни свалены в кучу.

Председатель поискал глазами кого-то, но не нашел, велел взвешивать и высыпать зерно.

– А про любовь мы с тобой еще поговорим. Ты у меня как чирей на заднице, все люди как люди, а он единоличник! Ты мне всю отчетность портишь, Кузин, и я тебе обещаю, что ты или в колхоз вступишь, или из села долой.

– Нет такого права! – Тимофей взорвался негодованием. – Нету! Продналог доведен государством – я его выполнил, и делу конец!

Председатель тоже закипел:

– Я буду определять, выполнил ты или нет, понял? Вот жду подмогу, должен подъехать уполномоченный, это специально для таких, как ты, создан партией орган, вот он и выдаст тебе квитанцию, чтобы ты от государства ни зернышка не закурковал!

Уполномоченный приехал вечером на паре вороных лошадей, с человеком в форме и при кобуре. Среди колхозников тоже оказались несознательные, которые помимо колхозной работы подсевали свои полюшки, они тоже облагались, как единоличники, но платить не хотели. С ними разобрались быстро, Тимофея уполномоченный посадил прямо перед собой, рядом бросил полевую сумку и кобуру:

– Почему вы, молодой человек, не хотите жить, как все советские люди, в колхоз не вступаете, от комсомола отказались, иконы, говорят, до сих пор в доме храните. Это правда?

– Да, гражданин начальник, все как есть.

– Вы меня правильно поймите, Тимофей Павлович, человек вы молодой, даже можно сказать – юный, а ведете себя как отчаянный контрреволюционер. Кстати, вы знаете, кто такой уполномоченный НКВД? Вот мы сейчас сидим с вами и мило ведем беседу. Я нахожу, что человек вы начитанный, хотя официального образования не имеете, с вашим знанием народа здешнего вы могли бы стать крупным политическим работником.

Тимофей мял в руках кепку.

– Я говорю с вами, как с равным, потому, что вы отличаетесь от всей этой серой массы. Но я могу сейчас же лишит вас жизни. Вот какая нынче острая политика.

– Я не интересуюсь политикой, тем более такой политикой, которая напрочь отрицает Христа, а я верующий человек, и таким останусь.

Уполномоченный очень удивился:

– Это кто же вам сказал, что мы отрицаем Иисуса нашего Христа? Это провокационная глупость неграмотного сектанта. Вы-то знаете десять заповедей, так я вам признаюсь, что коммунисты считают эту его установку чуть ли не своей программой в области морали. Да! Мы боремся с церковниками, которые извратили учение Христа и великую философию сделали догмой. Важна мораль, к которой призывал Иисус, а не завывания хора из десятка старух, чад от паникадила и просфорки в конце службы, а то еще и вино как кровь Христова. Согласитесь, что это чушь.

– Никогда не соглашусь, потому что причастие, которое вы высмеиваете, сам Господь совершил первым и нам заповедал. Как от этого можно отказаться?

– Я вам отвечу. Со временем. Не сразу, но можно. Вам, наверняка приходилось наблюдать, как младенца отлучают от груди. Время подошло, а он еще не понимает. Нужны дополнительные усилия, чтобы вызвать у младенца отвращение к тому, что вчера еще он считал самым важным. Теперь к делу. Мне рассказали о вашей мельнице, маслобойке и прочих изобретениях. Не стану вникать в детали, наверняка там не все совершенно, но сама способность мыслить уже заслуживает внимания. Продналог ваш оставим в покое, хотя у меня есть сведения, что вы сумели-таки припрятать от советской власти энное количество пудов. Ну-ну! Об этом никто не узнает, только мне интересно, за что вы не любите советскую власть? Ведь вы же ее совсем не знаете! Только за ее отрицание церкви?

Тимофей осмелел настолько, что уже не контролировал своих слов:

– За уничтожение крестьянина тоже не могу уважать. Как же можно согнать всех в одну артель и заставить работать не для будущего хлеба, а для крыжика в тетрадке у бригадира? Раньше тоже артельно работали, например, дома строили или другой подряд, но тогда люди собирались сами, по интересу, а не абы как. Если ты, к примеру, лодырь, кто тебя в артель возьмет? А в колхозе всем можно, и труженик, и лодырь – всем одна отметка в тетради. Думаете, после этого хлеб вырастет? Да ни в жисть! Уж коли вы про мои запасы знаете, до конца

скажу, за все разом отвечать. Колхоз намолотил нынче едва ли по сорок пудов с десятины, а у меня чуть не сто обернулось. Отчего? Оттого, что свое, я жил в поле, а не по наряду ездил.

Уполномоченный внимательно осмотрел Тимофея: ростом мал, но кряжист, крепок, ум цепкий, прямота даже опасная. Надо прибрать его к рукам, такие ребята могут горы свернуть!

– Давайте так: управляйтесь с хозяйством и приезжайте в Самару после революционных праздников. Мы с вами спланируем всю дальнейшую жизнь. Согласны?

Тимофей промолчал.

– Ну, что ж, на первый раз и этого достаточно.

С матерью своею, которая уже успела смириться с судьбой и была готова жить, да и жила по новым законам власти, Тимофей своими думами не делился. Он запряг в легонький ходок резвую лошадку, которую еще отец Павел Матвеевич назвал Певуньей и поехал к священнику Тихону, последнему оставшемуся в округе протоиерею, хорошему товарищу отца. Священник был в храме один, он вышел из алтаря настороженно, но, увидев знакомого, улыбнулся:

– Милости прошу в храм, сын мой, а я уж боялся, что одному придется служить последний молебен.

Тимофей встал на колени:

– Благослови, батюшка!

– Господь тебя благословил! Восстань, Тимофей, и начнем молиться, ибо к вечеру велено мне покинуть храм.

– И куда же вы?

– Об этом потом. «Миром Господу помолимся!» – воспел протоиерей и заплакал.

Тимофей несмело продолжил службу, и благодарный священник только через минуту смог присоединить свой голос. Так они вдвоем читали тексты Евангелья и пели псалмы и тропари. Окончив службу, наверное, самую краткую за всю трехвековую историю храма, они благословили друг друга, обошли все иконы, намоленные многими поколениями православных, каждой поклонились и к каждой приложились. Встав в алтарных дверях и не посмеявший войти в святая святых, Тимофей заметил, что нескольких икон нет на привычных местах.

– Я собрал самые старые иконы и в промасленной тряпице предал земле. Место я зарисовал, все думал, кому довериться, да вот тебя Господь послал. А теперь воспоем «вечную память» всем, кто молился в этом храме, и покинем его до прихода Антихристовых слуг. Я не смогу видеть, как они будут... – голос его задрожал, он заплакал и вышел на паперть, трижды встав на колени и опустив голову до затоптанных и давно не мытых плах церковного пола.

Во дворе дома священника они сели под навесом в плетеные ивовые кресла. Отец Тихон успокоился, но говорил только о храме:

– Иоан Четвертый после Казани повелел заложить этот храм Воздвиженья Креста Господня, тысячи народов молились здесь, и своих, и проезжающих в восточные сибирские края, кто по интересу, а кто и не по своей воле, но нога врага не ступала тут. И что же? Приходят вроде русские люди, крещеные, православные, заявляют, что Бога нет, потому церковь должна быть ликвидирована. Собрали всю позолоту и серебряную утварь, ну, да Бог бы с ней, пусть, коли нужна она голодающим людям. Но служить-то отчего нельзя? Нет, нельзя, сейчас вера будет другая. Мне показывали портрет их нового бога, так это же сатана, воистину сатана! Троцкий фамилия, но, слышал, что он из евреев, Бронштейн. Если так, то они православие вырвут с корнем, они давно к нему тянулись, но Государь охранял церковь Христову. Так они сначала Государя убрали, а теперь до веры дорвались. Попов, говорит, будем вешать, – сказал он безразлично. – Видно, все на круги своя, и нам предстоит пройти путь мучений Господних.

– А дочки ваши как же?

– Отправил в Самару, к сестре своей Апросинье, она скромно живет, возможно, не тронут. А тебя ко мне что гонит?

Тимофей рассказал о встрече с большим начальником и о его предложении ехать учиться, предположил, что единолично жить ему не дадут, а в колхоз идти противно его духу.

– Мать-то проживет без тебя?

– Там еще сестра, проживут, они и в колхоз готовы, да и хлеба я приберег малость.

– Тогда надо тебе уходить как можно дальше. Сначала учебой заманят, потом властью искушение сделают, богатством. Можешь не устоять и продашь душу свою, прости меня, Господи!

Совсем опечалился Тимофей, но он шел за советом и получил его.

– Куда же податься, отец Тихон?

– В Сибирь надо идти, там места глухие, да и народ другой, возможно, судьба повернется. Я все время от староверов вести имел, Епархия мои сношения с раскольниками не одобряла, но мне любы были их убеждения и твердость достойная, потому я списывался и многое знал. До последнего времени большими общинами в таежных краях жили, властям неведомые. Вот к ним бы тебе пристать!

– Как можно, отец Тихон, ведь ересь учение их!

– Глупо сказано, а ты повторил. Учение их чисто Христово, это мы отступники, убоялись всенощного бдения, разом служим и вечернюю, и заутреннюю службу, за животом идем, а не за верой. Ну, довольно, теперь и об этом говорить уже поздно. В Сибирь, сын мой, там спасение.

– А вы?

– А за мной вот уже и легионеры!

На телеге подъехали трое милиционеров.

– Гражданин Анохин? А вы кто? У нас ордер только на одного.

– Это случайный прохожий, зашел водицы испить.

– Небось, святой, – хохотнул рябой конвоир.

– А ныне в России всякая вода святая, – негромко произнес отец Тихон. – Прощай, сын мой Тимофей. Да, виденье то, что при батюшке Павле Матвеевиче поведал, храни в сердце своем, оно тебя еще и спасет и призовет.

– Э-э-э, да парень этот тоже, видать, не простой, может, и его прихватим?

– Сказано же тебе, что ордер на одного, вот одного и вези. А ты готов всю деревню разом пересажать, – лениво ответил старший.

– Всех их надо к ногтю, всех, одна это шайка-лейка, – брызгал слюной рябой.

Тимофей подошел к священнику. Он уже разоблачился, ряса и крест лежали в телеге, на отце Тихоне была простая фуфайка.

– Благословите, Отче!

– Господь с тобой!

Телега загрохотала по замерзающей уже земле.

Дома он собрал мешок с пожитками и двумя булками уже подсушенного хлеба, помолится перед иконой Николая Чудотворца, матери сказал:

– У властей я бумагу взял, что в город подался, а где окажусь – сам не знаю. Писать буду редко. Тятину могилку не забывайте.

– А мы как же? – всхлипнула сестра.

– Пишитесь в колхоз, так и скажите, что брат бросил, жить чем-то надо. Вас примут, весь инвентарь в исправности, пара лошадей, примут. Худо-бедно – прокормитесь, а там видно будет.

Поклонившись матери в пояс, он еще до рассвета подался в сторону станции, в «телятнике» больше молчал, прислушивался, из всех мужиков выделил двух бородачей, видно, братьев, держались они степенно и с достоинством, в мешках острый Тимкин глаз заметил плотницкий инструмент.

– Отцы честные, не подскажите ли, где сыскать мне работу, чтобы по силам и семью прокормить. Мать у меня осталась в деревне.

– А ты отчего из деревни махнул?

Тимофей наклонился к ним поближе:

– В колхоз не хочу, вера не позволяет. А одиночно жить не дают.

– Ты каких краев? – поинтересовался старший.

– Самарский.

– А что робить можешь? – младший спросил.

– По хозяйству все могу, а настоящему делу не обучен, отец рано помер.

– Топор из рук не выпадат?

– Нет! С топором мы в товарищах.

– Вот что, – подытожил старший. – Меня зовут Трифоном, а его Агафоном, мы из-за Москвы, едем по вызову в Екатеринбург, Свердловск по-нынешнему, рубить больницу в районе. Могу взять, но условия у меня суровые: ни мата, ни водки, работа от темна до темна, потому что больница большая, а сдать надо к осени. Оплатой не обижу, включу в договор, если документы в порядке.

Тимофей кивнул.

– Тогда спи пока, я перед станцией подниму.

Тимофей свернулся калачиком под нарами и уснул. Ему снилась длинная и чистая дорога в березовом лесу, он шел по ней с незнакомым мужчиной и говорил о светлом. Солнце в верхушках берез разбивалось вдребезги и осыпало их звездами своих осколков. Сбоку на дорогу вышел мужчина в фуфайке, с непокрытой лысой головой и босой. Тимка остановился: «Это Никола Угодник, я хочу ему поклониться». Он упал на колени и трижды прочитал «Отче наш». Когда поднял голову, никого рядом не было, а дорога впереди виделась ухабистой и размытой дождями.

– Топор ты держишь правильно, а удара настоящего нет. Погляди, тебе следует чашку угловую вырубить, это с четверть надо выбрать. Я ударяю по три раза с каждой стороны, ты долбишь, как дятел, слушать тошно, не то, что глядеть. – Трифон не ворчал, не ругался, он учил. – Ты в кузнице бывал?

– Конечно!

– Видал, как кузнецы работают: у них на каждый удар расчет, потому что попусту махать молотом накладно, к вечеру падешь, а сделанного нету. И у нас так. Силу в топор вкладывай, когда опускать начал, пока он летит, пусть рука отдохнет. Понял?

Тимофей легко осваивал новую работу, Трифон с Агафоном его хвалили, но он сильно уставал, и, когда работа заканчивалась (Трифон кричал: «Точи топоры к завтрашнему дню!»), Тимофей уходил в старый больничный пристрой, где обитала бригада, мылся холодной водой из бочки, наскоро ужинал и молился. За упокой души отца своего раба Божьего Павла, за здоровье матери и сестры и всех родственников, просил Николая Угодника дать ему сил отработать этот подряд. Засыпал сразу, но и вставал, как только поднимались старшие.

Когда стали ставить сруб на мох, пригласили сельских девчонок мох раскладывать по пазам. Одна шустренькая, Нюркой зовут подружки, все к Тимке жметяся, где он, там и она с охапкой мха. Вечером Агафон шепнул ему:

– Ты чего это от девки бежишь? Гляди, вон она, в роще, тебя поджидает. Иди, я Трифону не проболтаюсь.

– Нет, дядя Агафон, не пойду. Жениться мне еще нельзя, ни дома, ни хозяйства, а просто так – грех это, блуд.

– А я бы сблудил, – вздохнул Агафон, – да брательник тоже больно правильный, он и бабе жаловаться не будет, сам всыплет.

– Верующий брат-то?

– Староверы мы, двоедане, ну, это по-старому, теперь уж отходит эта мода, а брат чуть что – в рыло. Я-то не особо верующий, а этот – того и гляди, крылышки вырастут.

– Не богохульствуй, дядя Агафон, грех это.

Агафон махнул рукой:

– У вас с братом все грех, а я как гляну на девчонок, когда у них подолы ветром приподнимет, в глазах темно. Твоя-то рыженькая вся в соку, наклонится за мохом, груди того и гляди из кофточки выпадут, а сзади и смотреть больно.

– Все, дядя Агафон, сил нет ваши искушения слушать. Тот уж грешник, кто согрешил в сердце своем. А вы совсем погрязли в грязных мыслях.

Агафон вздохнул и собрался уходить, только Тимофей заметил, что тот не в пристройку направился, а к лесочку, где между берез прогуливалась Нюрка. Он и сам видел, что ладная девка, что к нему льнет, и охота было схватить ее в охапку, обнять и потискать, только боязнь греха держала его. Он прилег в своем закутке и сразу уснул, даже сон видел, что лежит дома на теплой печке, а мать подтыкает одеяло под бок, чтобы не поддувало. Очнулся, потому что кто-то рот ему перекрыл, сперва ничего не понял, а вырвавшись из объятий, Нюрку узнал, обняла она его крепко и целовала тоже крепко, и совсем голенькая была:

– Тима, чего ты меня сторонисься? Я ведь не пройда какая, я честная, полюбился ты мне, а дядя Агафон научил.

Тимофей уже ничего не понимал. Они были счастливо молоды и неопытны.

Лето приближалось к сентябрю, на стройке все чаще появлялся заведующий больницей Василий Алексеевич. Трифон доложил начальнику:

– Завтра к обеду будем первую матицу подымать да укладывать, надо бы на кухню пирог рыбный заказать, такой обычай.

Заведующий кивнул:

– Закажем, и про обычай знаю, сам приду и спирта по этому случаю выпишу.

Трифон возразил:

– Спирта не надо, больным его оставьте, мы люди непьющие.

– Совсем, что ли? – удивился Василий Алексеевич.

– Навовсе. Вера не позволяет.

– Так вы не христиане разве?

– Самые что ни на есть настоящие православные, только старой веры, – сурово ответил Трифон и стал работать топором.

Толстое бревно, аккуратное обтесанное под квадрат, было готово к подъему. С торцовой стороны здания положили поката, ровные длинные слегги, пропустили под матку три прочных веревки, с краев и посередине, одни концы закрепили наверху, за другие приготовились тянуть. По такому случаю пригласили больничных рабочих – одним тут не справиться. По команде Трифона трое наверху потянули веревки и трое внизу помогали им, дружно упираясь в матку крепкими жердями. Тяжелая матка со скрипом продвигалась по лагам, Трифон монотонно давал отчеты:

– Три, четыре – пошла, перехватились, три, четыре – пошла.

Когда матку водрузили в подготовленное место, Тимку направили по ней привязать посередине пирог, завернутый в чистый бабий платок. С другой стороны к Тимке вышел Трифон с топором, внизу уже проинструктированный стоял Василий Алексеевич.

– Готов, Лексеич? – и Трифон ударил по веревочкам, пирог камнем полетел прямо в руки заведующего. Раздался гул одобрения, народу собралось много, все-таки событие, да и про спирт слух прошел. Пирог разрезали, каждому досталось по кусочку. Трифон первым вытер губы и поднялся:

– С великой нас всех работой, благодарность и за помощь, и за соблюдение обычая русского. А теперича пошли паужинать.

После сдачи больничного корпуса заведующий выдал работникам полный расчет и еще по рабочему костюму, сапогам и фуфайке. Тимофей таких денег вовек не держал в руках. Трифон научил:

– Попроси Нюру, пусть мешочек сошьет и к рубахе тебе под мышки приторочит, иначе улизнут твои денежки.

Вечером Василий Алексеевич пригласил всех на ужин в больничной кухне, пообещал, что спиртного не будет. Благодарил за работу и предлагал остаться:

– На первое время работу вам найду, пока лес подвезут, а потом опять будем новый корпус делать. Соглашайтесь, расценка хорошая, добыюсь в райфо, чтобы разрешили премиальные в договор включить? А? Соглашайтесь, мужики.

За всех ответил Трифон:

– Спасибо тебе на добром слове, Лексеевич, хороший ты человек, только оставаться нам никак нельзя, семьи у нас дома, детки. Вот Тимофей вполне может остаться, он человек свободный. Его пристройте, а весной, Бог даст, мы подведем, если все сложится.

– Тогда и я тоже до весны, дядя Трифон, дома мать с сестрой, пишут, что неладно в колхозике-то.

Заведующий пообещал завтра подводу дать до станции, Агафон с Трифоном пошли спать, к Тимошке пришла Анна.

– Ну, и что ты плачешь, дуреха? Как же я домой-то не поеду, подумай сама. А тебя пока взять не смогу, потому сам не определен, как жить стану – неизвестно.

– Бросишь меня, ни девка, ни баба, ни мужняя жена. Я тятке сказала, будто замуж меня возьмешь, а то он убил бы, что хожу к тебе ночами.

Тимофею жалко было оставлять Нюрку, свyksя он с ней, да и девка она хорошая, добрая.

– Грех мы с тобой сделали, Нюра, Бог не простит. Не венчаны в постелю упали, как муж с женой.

– И что из того? – грозно спросила Нюрка.

– А то, что грех, молиться надо.

– Ишь, как ты заговорил! Чтой-то я не помню, чтоб ты молился, когда за груди меня хватил и лобызал, как теленок. Аль забыл? И почему твой Бог тогда тебя дрючком не дернул, чтобы ты охолонул?

– Дьявол, Анна, по пятам ходит, все норовит в грех ввести. Человек слаб.

– Дак вы еще пополам с дьяволом со мной игры под одеялом устраивали? Ну, Тима, не думала я, что ты такой злой да хитрющий, и хорошо, что не позвал к себе в деревню, а то всю жизнь каялась бы, что с недобрым человеком связалась.

Тимофей понял, что лишнего наговорил. Он уже молился за свой грех, вот только на исповедь сходить некуда, до ближайшей церкви день езды. «Сатана подсунул мне Нюрку, и не устоял. Слаба вера, вот и впал во искушение. За зиму отмолю», – успокаивал он себя после первой ночи, но потом Нюра приходила снова, и Тимофей забывал о своем раскаянии.

### 3

Возвращался Арсений с лесозаготовок сильно физически окрепший и возмужавший, тайга его не вымотала, потому что все-таки не за комель бревно брал, а за вершинку, она полегче, – так шутили в тайге... Он был хорошо одет, в кармане шерстяного пиджака лежали заработанные деньги. Купил билет до Ишима, больше некуда ехать, кроме Лидочки Чернухиной, чьим братом все это время просуществовал, пока чекисты отлавливали всех, кто хоть какое-то отношение имел к старому режиму.

О расправе над царской семьей узнал от приехавшего из Екатеринбурга инженера Игумнова, тот не первый раз бывал на производстве и заметил толкового паренька из рабочих.

– Сообщили, что расстреляли только Николая Александровича, но это чушь, убили всех.

– Как же всех!? За что? Стану за что? Алешу? Неправда! Это подлая фальшивка, брошенная в народ, это ложь, потому что эта власть может только лгать, лгать...

Он задохнулся и рухнул ничком, ударившись лицом о землю. Инженер напугался и неожиданных выкриков вдруг разгорячившегося молодого человека, и внезапного обморока. Игумнов крикнул людей, Арсения унесли в лазарет, трое суток он был без сознания, спокойный доктор назвал это шоком и сказал, что лечить нечем, само должно пройти, организм молодой.

– А причина в чем? – спросил он Игумнова.

Инженер соврал, что молодая жена у парня при родах померла.

Через неделю Чернухина отправили на работу, потому что встала шпалорезка, и никто, кроме него, не мог разобраться. Арсений нашел причину поломки, сказал слесарям, что надо разбирать и прилег на прохладных ровных шпалах.

Слесари, присланные из вагонного депо, привычно копались в машине и переговаривались. Арсений дремал, но слово «царевна» подняло его.

– Вот кум и говорит, что младшенькая царевна, не знаю имя, сбежала.

– Да ну, враки это, куда там сбежишь, когда кругом солдаты?

– Ну, не знаю, за что купил, за то и продаю. Только кум сказал еще, что по всему городу тревога, и поезда обыскивают. Значит, было дело, не без того...

Арсений с трудом удержался от вопросов, он и без того верил, что Стана, проворная и решительная, действительно могла обмануть охрану и скрыться. Почерневшая от горя его душа снова оскотилась любимым образом, и жизнь обрела смысл, и до встречи с Анастасией, казалось, остались только мгновения, так долго он ее ждал.

В станционном ресторане за соседним столиком заметил мужчину, и странное дело: само лицо никого не напоминало, а вот профиль... профиль Арсений узнал, он принадлежал офицеру охраны Его Императорского Величества, именно тому офицеру по фамилии Урманский, который неоднократно перекрывал ему доступ в апартаменты Их Высочеств, когда он приходил по приглашению Княжны, а девушка из покоев еще не успевала выйти для встречи. Взволнованный Арсений не знал, что делать: подходить небезопасно, неизвестно, кем сегодня состоит при власти этот по-деловому одетый и чисто выбритый гражданин; с другой стороны, если и признает, что мало вероятно, едва ли заговорит всерьез. Наконец, Арсений решился и сел напротив Урманского:

– Простите, милостивый государь, чтобы не вызывать ваших сомнений, напомню о себе сразу: в четырнадцатом году вы неоднократно преграждали путь во внутренние покои одного из важных зданий под Петербургом молодому человеку, почти мальчику. Это был я. Тогда фамилия моя была Лячек, отец привез нашу семью из Варшавы. А потом спасала меня от вашей бдительности прислуга молодой особы по имени Анастасия.

Урманский побледнел, но быстро взял себя в руки:

– Всего, что вы тут наговорили, достаточно, чтобы поставить нас обоих к ближайшей стенке. Прошло столько лет, как вы меня узнали? И кто вы сегодня, если не Лячек?

– Моя новая фамилия нужна была, чтобы спастись, но не это главное. Умоляю, хоть что-нибудь сверх того, что писали газеты о гибели фамилии. Хоть что-нибудь!

– Черт побери, как вы меня признали? Я же изменил лицо!

– Но остался профиль, который почему-то запомнился мне больше. Не беспокойтесь, я не стану вас тревожить и не буду больше спрашивать, если вы скажете мне хоть что-нибудь.

– Ищите за городом место «Ганина яма», их тела, прости Господи! сбросили в шахту. Это все. И будьте осторожны, там могут быть агенты. А теперь прощайте. Хотя нет, где вас можно найти при случае?

– Не могу точно сказать, еду в Ишим, но сколько там буду – неведомо, надо искать подходящее место.

– В первое воскресенье июня, в полдень, можете быть здесь, в открытой пивнущке за вокзалом? Это крайне важно.

– Буду.

– Прощайте. До встречи.

Арсений вышел из вокзала, прошел площадь, около часа пешком шагал в случайно выбранном направлении, наконец, остановил бойкого мужичка на доброй лошадке:

– Отец, сколько возьмешь до «Ганиной ямы»?

Мужик утратил веселость, подстраховался:

– «Четыре братца»? Туда без особой нужды не ездят. Вам какая потребность?

– Служебная. По тайному сыску я. Документ предъявить?

– Да мы что, не люди, что ли, и без того видать, что по делу человек, а не просто из любопытства.

– Что же любопытного в тех местах? И почему мне назвали «Ганиной ямой», а вы о «братцах»?

– Да как вам сказать? Когда-то четыре больших сосны там росли, вот и братья. А еще говорят, царя с семьей там в шахту спустили в восемнадцатом, да кто знает?

– Значит, довезешь?

Сухая погода спасла дорогу от канав и колдобин, ехали молча, Арсений прилег на раскинутый войлок, подложив котомку под голову. Ни о чем не думалось, точнее, он боялся думать. Это первая встреча с нею неживою. Он вспоминал ее лицо за чайным столом, в летней аллее, в тамбуре вагона и в окне губернаторского дома в Тобольске. Картины менялись, она улыбалась, грозила пальчиком, печально махала ручкой. Появилась просторная поляна в сосновом лесу, грязная, запущенная, с таинственной ямой посередине, контуры часовни возникли и исчезли, а потом Стана оказалась совсем рядом, и «Меня здесь не ищи» – странная фраза возникла в сознании. Арсений сел. Солнце стояло в зените.

– Еще не скоро? – спросил возницу.

– Да почти что....

Мужик остановился прямо посреди дороги.

– Отсюда пожалуйста пешком, нежелательно мне там появляться, вмиг попадешь в списки.

Арсений подал ему деньги:

– Подождите часа два. Если не будет меня, уезжайте. Но подождите. За обратный путь плачу вдвое.

Он пошел указанной тропинкой. Поляна открылась неожиданно быстро, людей не было, хотя трава примята изрядно. Заметил несколько огарков свечей. Грубыми сосновыми жердями на необтесанных столбах огорожено жерло колодца или шахты. Арсений подошел ближе и положил голову на пахнущее смолой дерево изгороди. Кладбищенская тишина. Одинокий

комар прозвенел над ухом и скрылся. «Меня здесь не ищи!» – что это: ее указание или фантазия воспаленного мозга? Если не здесь, то где же?

«Стана, милая девочка, дай знать, если ты тут, я навсегда останусь рядом. Дай знать».

Он обошел изгородь по кругу и остановился перед неожиданной россыпью лесных фиалок, ноги подкосились, он почти без памяти встал на колени перед любимыми цветами Княжны. Опустившись лицом в траву, он несколько минут молча прислушивался к себе – нет, ничего не шепнула ему Анастасия. Стоя на коленях, вытер платком лицо и вздрогнул: фиалок не было! Осторожно осмотрелся – ни одного цветка. «Я должен был сорвать хотя бы одну былинку, или это было видение? Если так, то действительно она дает знать, что тут ее нет. Жива?».

Арсений встал, поправил одежду и поклонился огороженному месту. Странно, но у него так и не возникло чувства, что он кланяется праху дорогих ему людей. Стараясь не думать об этом, он пошел в сторону ожидавшей его подводы.

– Остановись, сынок! – услышал он слабый женский голос. – Прости меня, я все время за тобой наблюдаю, так и промолчала бы, да что-то тебя мучает.

Арсений только теперь заметил маленькую сухонькую женщину, одетую монашкой, довольно старую.

– Не грешно ли созерцать чужие страсти? – спросил он.

– Нет, сын мой, если бескорыстно. Я тут рядом живу в землянке, молюсь за безвинно убиенных царя, царицу и детушек их.

– Вы их знали?

– Конечно! Но не видела никогда, слышала только, что младшенькая царевна, Настасья, Божественным промыслом спасена была и теперь жива.

Арсений поднялся над чахлыми сосновыми порослями, над зловещей ямой, ему виделся Царскосельский парк и маленькая девочка в простенькой шубке, бросающая в него снежки. «Господи, ты услышал меня, прости, я много раз был несправедлив, обвиняя тебя в бессердечности. Прости меня, за Анастасию я всю жизнь буду молиться и бояться тебя». Он с трудом пришел в себя, счастливый и плачущий, подхватил монашку на руки, рыдал и смеялся, еще ничего до конца не понимая:

– Где она сейчас? Почему вы знаете, что она спаслась? Как найти?

– Опусти меня на грешную землю, – попросила старушка. – Негоже монашке в мои лета мужские руки ощущать. А слух такой, что жива она осталась волей Божией и спасается в монастыре.

– Где, в каком?

– А кто ты будешь, мил человек, чтобы все тебе выложить? Может, ты из органов да по ее душу?

– Бог с вами, матушка, я знал ее девочкой в четырнадцатом году, потом мы расстались и виделись только на мгновение в восемнадцатом в Тобольске и в Тюмени.

– Перекрестись!

– Нет, матушка, креститься пока не стану, с Господом у нас особые отношения, но честью своей клянусь, что говорю правду.

– Поверю. Поезжай в Долматовский монастырь, его тоже разогнали, но несколько монашек спасаются, спросишь среди них матушку Евлоху, должно быть, жива еще. Она знает. А теперь ступай.

Ишим показался ему нищим и грязным, он прошел от вокзала узкой и разбитой улицей к дому Лидочки Чернухиной, сестры и жены. Она так испугалась его появления, что даже слова вымолвить не смогла. Девочка лет пяти сидела в углу комнаты и играла тряпичными куклами. Он поднял ее на руки:

– Как зовут тебя, дочь моя? Знаю, что дочка у меня есть, а имени не знаю. Ну, как же имя твое?

– Анастасия.

Арсений пошатнулся, дыхание смешалось, сердце стучалось наружу в самом горлышке. Он нащупал табуретку и тяжело сел. Лида испугалась:

– Что, Арсюша, не нравится имя тебе? Так сам же сказал.

– Когда? Что ты несешь, когда я мог тебе это сказать, ежели мы не виделись более пяти лет? – он с ужасом поднял на нее глаза. Лида, испуганная, села перед ним на корточки, заботливо заглянула в глаза.

– Во сне мне явился и сказал, чтобы дочку назвала Анастасией.

Арсений огляделся:

– Где мама?

– Схоронила прошлым летом, неделю только и похворала. Деньги мне твой человек приносил, но я не тратила много, тебя ждала. А разве письма через него нельзя было передать?

– Нельзя. – Он сказал это слишком строго, смутился, поправился: – Нельзя, Лида, письмо – не деньги, его ничем не оправдать в случае чего.

Она пожарила ему картошку на керосинке, все лепетала что-то, а Арсений держал на коленях девочку с любимым именем, родную кровь свою, но отцовское чувство не проклюнулось еще в глубинах истерзанной души.

– Ты мой папа?

– Конечно, Настасьюшка, это твой папа. Только, Арсюша, может, лучше тятей называть? Папа – это по-вашему, а мы же... из простых.

– Не знаю, решай сама.

– А где он был? – не унималась девочка.

– Далеко. Денежки нам с тобой зарабатывал. Арсюша, я тебе принесу деньги-то, они у меня прибраны.

Он впервые за много лет лежал под мягким одеялом рядом с молодой и красивой женщиной, матерью его дочери. В том он нисколько не сомневался, потому что тихонько осмотрел головку ребенка и за левым ушком нашел, что искал: большую родинку, сопровождавшую всех представителей рода Лячехов уже много веков. Не знавший женской ласки, он порой находил поступки и слова Лиды вульгарными и пошлыми, но теперь это была его жизнь, и надо было к ней привыкать. Странно, но он не испытывал ревности, хотя более четырех лет молодая женщина жила одна, без мужа, да и тот энкаведешник, наверняка не сразу от нее отстал, тем более, что братец скрылся так неожиданно. Об этом не думалось, даже если и был кто-то у Лиды, она имела на это право, потому что он, муж и отец их ребенка, был неизвестно где, она имела право, а он не мог ее ни в чем упрекнуть.

Утром он сказал, что завтра уедет на неделю, потом вернется и устроится на работу.

– Все будет хорошо, правда, Анастасия?

Он заглядывал в ее лицо и видел то, другое, это так сильно пугало его, что девочка дважды принималась плакать. Часть денег из привезенных с лесозаготовок он попросил Лиду хорошенько прибрать, с собой взял самую малую сумму.

– Арсюша, как с документами-то быть? Мы же не брат с сестрой, да и теперь все увидят, что семья. Может, уехать куда?

– Куда? – тоскливо переспросил Арсений. Как он мог сказать ей, что живет только крохотной надеждой, даже иллюзией, и все остальное для него за пределами жизни. – Дай мне неделю сроку, потом займусь семейными делами.

В Долматовском монастыре, до которого добирался несколько суток, его приняли при входе три монашки очень настороженно, а когда спросил о матушке Евлохе, старушки и вовсе закрестились:

– Слаба телесно стала настоятельница, – проплакала одна из них. – Ты бы, мил человек, сказал, по какому делу к ней, и кто ты есть, и откуда про матушку узнал? Без того не можем доложить, слаба она.

Арсений рассказал все, что касалось Анастасии, умолчав о смене имени и почти нелегальном своем положении. Он заметил, что более всего подействовало упоминание о монашке у Ганиной Ямы, похоже, старушки знали о ней:

– Жива еще? – удивилась старшая. – Когда ты ее видел?

– Неделю назад.

– Ишь ты, жива! Молитесь о ней, сестры! Посиди тут, я дойду до матушки, потом позову, если Бог даст.

Настоятельница приняла его в своей келье. Она сидела на жестком топчане, накрытом суконным солдатским одеялом, два грубо сработанных табурета и маленький стол чуть в стороне, в углу и на стенах старые закопченные иконы, перед Спасителем горит лампадка. Арсений поклонился матушке в пояс и поздоровался.

– Бога, стало быть, не признаешь и лба не крестишь? – скрипучим голосом констатировала монашка.

– Простите, матушка, веры нет, а обманывать не могу.

– И то хорошо. Что сказала тебе сестра наша при могиле невинно убиенного семейства Государева?

– Сказала, что Ее Высочество Анастасия Николаевна чудом осталась жива и обитает где-то в монастыре, а где точно, про то у вас велено было спросить.

– Это как же ты смог в душу ее войти, коли она крест целовала о святой тайне?

– Не знаю, матушка, наверно, горе мое ее убедило, что надо помочь.

– Пусть так. Молиться будем за отступление ее от слова клятвенного. Сестры пересказали мне твое бытие, только скажи: откуда у тебя сама мысль родилась о чуде спасения Княжны? А если все погибли, и ты упокоенную на небесах уж много лет на земле ищешь? Арсений зарыдал, опустившись на корточки и закрыв лицо руками: – Матушка, я и сам думаю, будь я уверен, что она погибла – мне бы легче стало, я бы немедля к ней ушел. С такой мыслью и Яму эту искал, с такой думкой и плакал на безобразной той ограде святого места. Но с детских лет была у меня странность: знать о событиях за много времени вперед, за это меня Распутин хотел к себе взять, а папенька возмутился, вот тогда-то и отправили нас в Сибирь. Я после ареста родителей вообще никому не говорил о своих предвидениях, в народ ушел, пытался семью завести, да эта власть все приломала, я даже ребенка своего принять не могу, потому что жена моя по документам сестра, чем и спасли меня, когда в тифу лежал. На днях к Ганиной Яме на подводе ехал, прилег и не уснул даже, как родной голосок ее услышал: «Не ищи меня тут, нет меня здесь». Я понимаю, что эта способность дана мне свыше, и голос этот не мог быть случайным, это она говорила мне. Значит, жива, я верю в это, а коли так – найду ее.

Настоятельница сидела на своем ложе, сложив большие руки на коленях и шепча молитву. Арсений трепетно молчал. Наконец, она открыла глаза:

– Скажу сестрам, чтобы накормили тебя и в дорогу дали чего. А пойдешь ты, раб Божий, в Чусовскую обитель, я там жила когда-то, только нынче разорено все, сказывают, осталась одна пристройка, там и обитает Княжна под именем сестры Марии, так она назвалась сама. Об истинном ее лице знают только немного человек, ты должен будешь ей записку передать с обозначением себя и ваших отношений, тогда она выйдет к тебе. А ежели обман – грех на тебя падет и на весь род твой!

Арсений все еще стоял на коленях, молча поклонился старухе до самых сухих ног ее, поднялся, спросил:

– Что я могу сделать для вас, скажите?

Монашка засмеялась дребезжащим смехом, потом с улыбкой перекрестила свой беззубый рот:

– Да чем же ты, невера, погрязший в земных делах, можешь помочь нам, кто всякое мгновение рядом с Господом? Молись, в этом спасение.

– Спасибо вам, но мое спасение найти ее, без нее не буду жить, не могу.

– Обожди. Дьявол за тобой по пятам ходит, грешные мысли внушает. Сам лишишь себя – Господь не примет душу, тогда и там, на том свете, не встретишь ее. Молись, ибо в Боге сила! Иди!

Он вышел за ворота монастыря и только тут вспомнил, что не спросил, где же находится Чусовская обитель.

«Ничего, найду сам» – и зашагал в сторону тракта.

Небо подернуто обрывками туч, неяркое солнце изредка прорывается в прорехи между тучами, разгоняя земной сумрак и веселя природу. Арсений шел, уверенный, что его ждет удача, что в скромной монашке с полузакрытым лицом он узнает ту, которая вот уже десять лет живет в его душе и в его измученном сердце.

В назначенное время, в воскресенье, он был в условленном месте, полковник Урманский и еще двое мужчин в простых костюмах, ничем не отличающиеся от публики выходного дня, сидели за столиком и пили пиво. Арсений подошел со своей кружкой, для конспирации искал глазами свободное место и шагнул к нужному столику:

– Позвольте, граждане?

– Вы бы еще сказали «господа». «Позвольте!». Теперь так никто не говорит, теперь говорят: а ну-ка, подвинься!

– Перестаньте ёрничать, Евстафий Евграфович, совсем смутили молодого человека. Арсений, я не буду называть вас по отчеству, понимая, что оно тоже вымышлено. Мы пришли на встречу с вами с единственной целью: определиться, с нами вы или вне нашего движения. Мы, группа русских офицеров, оставшихся в России не по своей воле, здесь, на Урале, готовим переворот, едва ли надо говорить, что подобные группы действуют во всех губерниях. Нам нужны преданные люди. Если вы готовы служить России, включайтесь в работу.

Арсений с недоумением смотрел на пожилых уже людей, нехотя плотающих противное пиво, и с трудом верил в реальность разговора.

– У вас, я вижу, есть сомнения?

– Да, и немалые. Я несколько лет проработал на лесозаготовках, потом на переработке древесины, то есть хочу сказать, что немного знаю истинное настроение так называемых масс. Народ только что начал более или менее нормально жить, с продуктами как-то проще стало, деньги чего-то стоят. Власть ругают потихоньку, но свою, местную, на центральную молятся, вне зависимости от партийности. Боятся или уважают – в нашем случае все едино. Прийти в рабочую бригаду и предложить выступить против власти – да вас сдадут в ту же минуту, тем более, что в каждом коллективе, буквально в каждом, созданы ячейки большевиков. Переворот невозможен, господа.

Урманский заерзал на стульчике:

– Выходит, зря я вам доверился, вы и сами, наверное, готовы нас сдать ГПУ?

Арсений осуждающе на него посмотрел:

– Вы недостаточно знаете жизнь. Наверное, можно вредить на производстве, устраивать аварии, иными словами, мешать, исполнять свой долг, но это даже не часть движения к перемене власти. Я убежден, что большевики настолько крепко ухватились за власть, им так нравится править страной, хотя они вовсе не умеют этого делать. Ленин кухарок призывал к руководству государством, и это случилось, большинство начальников на местах не квалифицированной кухарки, но это временное дело, они сильно, напористо работают с молодежью.

В жизнь входят молодые люди, совсем не знающие старой России, и они с нами не пойдут никогда.

Один из друзей Урманского спросил:

– Арсений, вы достаточно образованы и подготовлены. Это университет?

– Нет, самоподготовка.

– Давайте, я определю вас в лесное управление инспектором по кадрам, например, а далее посмотрим.

Неожиданное предложение поставило в тупик Арсения:

– Я подумаю над вашим предложением, тем более, что оно совпадает с моим намерением уехать из Ишима, где меня знают и могут разоблачить. Но прежде у меня еще одна миссия.

Урманский спросил:

– Мы можем о ней знать?

– Конечно. У меня есть сведения, что Великая Княжна Анастасия жива и находится теперь в одном из монастырей. Моя задача – найти ее.

Все трое смотрели на него с недоумением:

– Сударь, – заговорил, наконец, третий, до сих пор не произнесший ни слова, – ваша информация совершенно не имеет под собой почвы. У меня на руках копия заключения следователя Соколова, который после освобождения Екатеринбурга от большевиков по поручению Александра Васильевича Колчака проводил расследование, все сводится к тому, что спастись никому не удалось, да и возможности такой не было.

– Может быть, это фальшивка? – упавшим голосом возразил Арсений.

– Голубчик, я служу в таком ведомстве, где фальшивок не держат. Копия подписана лично Николаем Алексеевичем Соколовым, а я с его рукой знаком.

Арсению стало плохо, он вышел из-за стола и, наклонившись, убежал в кусты. Его стошнило, видимо, резко поднялось давление. Чуть отдышавшись, вернулся, извинился и сел на свое место.

– Не имею оснований не верить вам, как и верить, пока сам не получу убедительные доказательства. Мне нужно побывать в Чусовской обители, по легенде (он уже допускал употребление такого слова) там живет монашка, назвавшаяся Анастасией.

– Милейший, по слухам, такие Анастасии живут чуть не в каждом городе и даже за границей. Конечно, очень хотелось, чтобы кто-то из фамилии остался в живых, выбрали Анастасию, она самая юная и, говорят, шустрая была. Вы хорошо знали ее, сударь?

– Да. Я хотел бы ознакомиться, насколько это возможно, с заключением господина Соколова.

Урманский написал на клочке бумаги какой-то адрес, вся компания поднялась и ушла. Арсений, потрясенный новостью, остался за столиком. Вокруг шумел город выходного дня. Гуляли мамы с детьми, молодые пары, обнявшись, сидели на садовых скамейках, милиционер в белой форме с черной кобурой на ремне регулировал движение редких машин на соседнем перекрестке.

Арсений снова почувствовал себя плохо, он неожиданно осознал простую вещь: дом смерти и святой крови совсем рядом, почему же он раньше об этом не подумал?! Как пройти к печально знаменитому Ипатьевскому дому, боялся спрашивать, и поджидал людей пожилых. Только третий из остановленных подробно описал, как можно добраться, уточнил, что в доме теперь музей революции и лучше о нем так говорить, и еще посоветовал особого интереса не проявлять, потому что всегда есть агенты.

«Опять агенты!» – вздохнул Арсений и пошел в указанном направлении. Через час он был перед небольшим двухэтажным домом с красной вывеской. С ужасом прочитал, что площадь называется площадью народной мести. Он смотрел на окна второго этажа, где жила семья, вот у этого окна она стояла, возможно, протирала по утрам стекла от ночной влаги. Входя

во двор, он представлял, как выносили ее тело из подвала, возможно, вот тут она лежала до погрузки в кузов автомобиля. Экскурсия юных пионеров проходила по зданию, и венцом воспитательной работы было посещение расстрельной комнаты. Арсений пошел за детьми, что-то слышал о справедливом возмездии, а сам смотрел на стену, избитую пулями, кирпичная кладка во многих местах была оголена. Его мозг заполнился выстрелами и криками, среди которых он искал Ее голос, но не находил, от запаха крови и пороха у него закружилась голова, и он уже не помнил, как охранник вывел его во двор.

– Чего это ты сковырнулся? Жалко, небось?

– Да нет, после тифа я, а там душно.

– Посиди тут, в сторонке, я на службу пойду.

Арсений осмотрелся. Он сидел на большом камне, видимо, оставшемся еще от строительства дома, рядом с кучей строительного мусора, всего, что вынесли из дома после ремонта, в том числе и из подвальной комнаты. Он обомлел, лихорадочно разгребал битый кирпич и куски штукатурки, что-то искал, еще не понимая, что, наконец, поднял плитку штукатурки, на беленой стороне которой проступали бурые круглые с потеками пятна. Он завернул плитку в платок и быстро вышел на улицу.

По указанному в записке адресу нашел хорошую квартиру, хозяин которой ни о чем не спрашивал, накормил, провел в комнату с постелью и оставил папку с бумагами. Арсений достал плитку штукатурки и положил перед собой на столе.

«Судебный следователь по особо важным делам при Омском Окружном Суде Н. Соколов, 19 марта 1919 года, №46, г. Екатеринбург.

По имеющемуся в моем производстве делу об убийстве отрекшегося от престола Государя Императора Николая Александровича и членов его семьи...».

Он читал до глубокой ночи, а когда выключил электричество, лунный свет упал на белую пластинку штукатурки, и капли крови ятно выступили на ее поверхности. Арсений закрыл руками лицо и так просидел до рассвета. Когда хозяин постучал в комнату, Арсений вышел, оставив на столе бумаги, отказался от завтрака и пошел в город. Чтобы навсегда вычеркнуть живую Анастасию из своего сердца, сохранив в нем память о нескольких часах, проведенных рядом и о нескольких годах надежд и поисков, ему осталось побывать в Чусовской обители. Он, нервный и чувственный человек, оставался суровым реалистом, когда в диалог вступали документы. Объемная итоговая записка расследования Соколова или протокол – как угодно его называй – был составлен весьма квалифицированно и убедительно. И хотя были мгновения, когда Арсений терял самообладание, оставив бумаги, безутешно рыдал на кожаном диване, он находил в себе силы и возвращался к бесстрастному тексту, который одинаково тщательно описывал детали дороги, места уничтожения тел, оторванный женский пальчик и обрывки девичьих интимных одежд.

В Чусовской обители он оказался не единственным посетителем, несколько старушек, тихонько переговариваясь, поджидали кого-то из-за ворот. Вышла высокого роста старуха, похожая на мужика, густо сказала:

– Вам, сестры, нынче отказано в беседе, приходите на следующей неделе. А ты, молодой человек, чего хочешь?

Арсений уже достал из мешка помятую тетрадку:

– Я попрошу передать записку сестре Марии, она ждет ее.

– Пиши, я потерплю.

«Помните ли вы о флаконе любимых Вами духов, которые я осмелился подарить Вам, а потом Вы вернули их мне как память? Ваш Боня».

Старуха ушла, и скоро в калитке появилась молодая монашка, по самые глаза повязанная черным платком. Арсений метнулся было ей навстречу, но что-то остановило его.

– А почему вы не написали, какие именно были духи? – чужим голосом спросила монашка.

– Это вы должны уточнить, если вы та, за которую себя выдаете.

– Конечно, как могла забыть. Это моя любимая сирень. А вы? Я не помню вас...

Арсений не почувствовал разочарования, он молча поклонился, взял свой мешок и направился к дороге.

Круг замкнулся. Как жить, когда ее нет? Чем питать сердце и радовать душу? Он свернул с дороги в лес, упал на траву и затих. Бессонная ночь, ожидание встречи и горькое разочарование опустошили его физически, он забылся тяжелым сном много пережившего человека. Во сне он видел Лиду и дочку Стану, потом рядом с ними появилась Анастасия, она улыбалась и гладила Стану по головке. Ему сказала: «Не следует обо мне печалиться, мне хорошо тут. Не ищи меня, меня нет там, где ищешь. И девочку эту беру под свой покров».

Арсений проснулся бодрый и сильный, быстро пошел в сторону станции. Сну он не удивился, а обрадовался: ей хорошо, это она сама сказала, и Стану маленькую признала, добрый знак. Значит, и брак с Лидой косвенно благословила. Домой, домой, и к священнику на исповедь, не может человек без веры общаться со святой душой. Только примет ли православная церковь истинного католика? Ну, это пусть батюшка решает, если надо – приму православную веру, измены тут нет.

С этими добрыми мыслями пришел он на железнодорожный вокзал. Двое не очень молодых, но крепких мужчин, одного из которых он видел вчера в той пивнушке, взяли его под руки и повели в сторону. Арсений сопротивлялся, но хватка у ребят была крепкая, они сели в легковую машину и поехали по вечерним улицам города.

– Вы меня арестовали? За что? Я не совершил преступления, я рабочий человек, – вспомнил он, наконец, спасительную линию поведения.

– Сиди спокойно, там разберутся, на кого ты работал, рабочий человек, – посоветовали из темноты слева.

Его со двора ввели в здание с затемненными окнами, провели коридором и открыли высокую двухстворчатую дверь.

– Товарищ следователь, арестованный Чернухин доставлен.

Тот махнул рукой, сопровождение исчезло.

– Ты понимаешь, где находишься?

– Нет, гражданин начальник.

– Это ГПУ, сюда в гости не ходят, мы занимаемся особо опасными государственными преступниками.

Арсений обрадовался:

– Тогда, гражданин следователь, мне бояться нечего, я для государства кроме пользы ничего не делал.

– Это хорошо, расскажи-ка мне, чем ты занимался в последние годы, где жил, что работал.

Арсений решил сказать, как было на самом деле, ведь все равно они узнают, если еще не знают:

– Живу в Ишиме, но пять лет почти работал на лесозаготовках по комсомольскому направлению. И в тайге работал, и на переработке, на распиловке то есть.

– Образование имеешь?

Арсений знал, что покойный брат Лиды окончил три класса.

– В школу ходил, но не очень тянуло.

– Так. А в комсомол когда вступил?

– Когда в депо смазчиком работал. Пришел человек, мы с ребятами написали заявления и получили документ. По тому документу и в тайгу уехал.

Следователь поддакивал и, кажется, мало интересовался тем, что говорил Арсений.

«Или все знает, или это его не интересует, потому что арест связан со встречей в пивной», – подумал он.

– Нескладно у тебя получается. Молодая беременная жена, работа есть, поросеночка держите, живете дружно, и вдруг ты на пять лет скрываешься, именно скрываешься из города. А жена тебя ждет, замуж не выходит, хотя, извини, по нашим данным, выбор у нее был.

Арсений всеми силами старался сохранить самообладание. Он почувствовал, что именно в эту минуту решается его судьба, ошибись он хоть в слове, хоть в интонации – провал. Откроется не только Урманский, с которым, по большому счету, у него общих дел не было, но откроется перемена имени, подмена недорезанного буржуя на пролетарского парня, да не по существу, а только по форме, а это столько вызовет вопросов, что никогда на них не ответить, и ни один следователь не поверит, что он не враг и не подлежит аресту или даже расстрелу.

– Гражданин следователь, мне скрывать нечего, ведь кроме жены и меня еще и теща была, это не баба, а ведьма, я только от нее убежал, а почему в лес – мастером там работал наш бывший сосед, Слинкин по фамилии. Тоже семья дома осталась, а его мобилизовали однажды, он и остался, бабенку там себе завел, правда, к семье приезжал. Вот он мне и подсказал.

– В Свердловск зачем приехал?

– Работу присмотреть да перебраться.

– После пивнушки куда скрылся?

– Вот по этому делу и рыскал.

– Фамилия Урманский тебе что-нибудь говорит?

– Не знаем таких.

– А в пивнушке сидели за одним столом, разговаривали.

– Верно, сидел, люблю пиво, но в тот раз негодное было пиво, развели, должно быть.

И говорили, пиво же пьем, почему не поговорить?

– О чем говорили?

– Да обо всем, эти трое спорили еще, кто в прошлый раз платил.

– И ни одного из них ты раньше не встречал?

– Так точно, не видел и не знаю.

Следователь устало потянулся, собрал со стола бумаги:

– Посидишь в камере, мы твои показания проверим, если что не совпадет, поедешь допиливать тайгу. Если найду хоть что-нибудь из связей с Урманским и кампанией – расстреляем. Конвой! В камеру. В одиночку.

Лежа на продавленном душном матрасе, Арсений еще раз дословно вспомнил весь разговор со следователем. Судя по тому, что его поджидали на вокзале, они видели, что клиент подошел с поезда и знали, что вернется. Следили за ним в его поездках по монастырям? Если бы да, следователь спросил бы о причине столь странных маршрутов путешествия комсомольца. Он понимал, что Урманский и другие сидят где-то рядом, контрреволюционная организация раскрыта, и он имеет к ней отношение. Если это откроется, он примет смерть достойно, чтобы достойно встретиться Там с Нею. Ему не казалось странным, что, не веря Богу и не молясь никому, он был уверен, что есть место на небесах, где встречаются умершие, там Она, собирая на обильных лугах любимые свои фиалки, тоже думала о нем и ждала встречи, хотя всем сердцем желала ему спокойной жизни на земле. Тот сон с косвенным благословением дочери он воспринимал как вещий. Еще одной мысли он улыбнулся: дочка стала ему ближе и дороже после видения Анастасии.

Трое суток его не беспокоили, три раза в день с грохотом открывалась квадратное окошко, и на откидную крышку швыряли миску с похлебкой. Арсений брезгливо съедал содержимое и ставил миску на место. Странно, но завтрашний день его совсем не беспокоил, он знал два возможных решения и был готов к обоим. В двадцать шесть лет покидать мир нелепо

и грустно, судьба Лиды и маленькой Анастасии заставляли замирать сердце, но он не волен был распорядиться их будущим, и это принуждало смириться. Он заставлял себя думать только о Стане, о встрече с нею, о том странном, незнакомом и непознаваемом мире, в котором она живет, и он будет рядом с нею, в это верил. Арсений возвращался в реальность и она была чужой ему, усилием воли уходил в забытие, жил в Варшаве, в Царском селе, видел издали Анастасию, непременно гуляющую с сестрами, мысленно вызывал ее на разговор, но она, грустно улыбнувшись, качала головой.

Несколько раз Арсений возвращался к записям следователя Соколова, находил в памяти описания отдельных деталей, которые убедили даже его своей достоверностью: пряжка от туфельки, он помнил ее, потому что однажды во время прогулки пряжка расстегнулась, Анастасия поставила ножку на край садовой скамейки, и Боня с волнением застегнул пряжку; бусинка в форме плода шиповника, сестры находили такие бусы безвкусицей, но Стана иногда надевала их; кусок материи по описанию совпадал с тканью ее легкой накидки.

Он настолько погрузился в свои размышления, что не слышал открывшейся двери и вздрогнул от окрика охранника:

– Чернухин, на выход!

В кабинете следователя спиной к двери сидел сутулый, худой человек. Следователь велел Арсению пройти вперед, и тот узнал Урманского, сильно похудевшего, с разбитым лицом:

– Узнаешь ты этого человека?

– Да, – как можно тверже ответил Арсений. – Мы с ним пиво пили за вокзалом.

– А вы, господин Урманский, что можете сказать о молодом человеке?

– Ничего, – спокойно ответил тот. – Или деревенский, или жулик, больно глупо выглядел и говорил.

– О чем?

– Да пустое, про баб, про скверное пиво, пришлось одернуть.

Следователь подписал бумажку на столе и протянул Арсению:

– Все, что видел и слышал – забудь. Комсомольская путевка твоя оказалась верным документом, она тебя спасла. Свободен, и чтобы через пять минут духу твоего тут не было!

Арсений вышел с черного хода, добрался до вокзала и утром был в Ишиме. Лида уже ушла на работу, Анастасия одна играла дома, закрыв дверь на крючок. На стук она спросила:

– Кто там?

– Стана, открой, я твой папа. – Он выговорил это с трудом, понимая, что такой фразой отрезает путь к прошлому.

– Ну-ка, подойди к окну, чтобы я увидела.

Пришлось выполнять. Приподняв занавеску, девочка вскрикнула: «Папка!» и побежала открывать дверь.

Лида пришла поздно, в летний сезон на стройке объявляли десятичасовой рабочий день. Заплакав от радости и обняв мужа, она наскоро приготовила ужин и сидела напротив его, подперев подбородок руками, с жалостливой улыбкой глядя, как он торопливо ест свежие домашние щи.

– Почему ты ни о чем не спрашиваешь? – обнял он прижавшуюся к нему жену.

– Зачем? – просто сказала она. – Надо – сам расскажешь, а нет, так и знать необязательно.

– Обо мне никто не интересовался?

– Приходили из милиции, я отвертелась, сказала, что не знаю, где тебя черти носят, да и соседи подтвердили, что пять годов не жил, и опять пропал.

– Нам уехать надо бы отсюда, Лида, и лучше бы в деревню, сейчас многие из городов в деревню едут, там жить попроще, да и народ чуть другой.

– Решай сам, Арсюша, а мы уж за тобой, как ниточка за иголочкой.

Он в несколько дней договорился о продаже домика, откопал в поле стеклянную банку под сургучом и старинную семейную шкатулку в пергаментной обертке с бумагами, фотографиями и остатками фамильных драгоценностей. Ночью при свече в бане перебрал документы, сжег наиболее опасные, среди них письма Анастасии, которые помнил до слова, до помарки, до кляксы, остальное крепко связал, уложив во внутрь флакончик фиалковых духов. Духи спрятал быстро, чтобы не тревожить душу, сверток засунул в мешок с другими пожитками, не опасаясь, что кто-то будет его проверять.

Знакомые мужики сказали ему, что в Зареченьке дома стоят недорого, Арсений съездил с ямщиком, который оказался местным, привез его в деревню со странным названием Селезнево, и даже домик помог подыскать: хозяина на повышение отправили в другой сельсовет, вот и случилась нечаянная продажа. Арсений внес аванс, получил расписку, зашел в сельсовет, показал все бумаги, председатель дал добро на переезд.

В деревне ему пришлось начинать все заново, кроме деревянного дела, другого из потребных сегодня он не знал, потому пришел к Савелию Реневу, который держал плотницкую мастерскую.

– Что можешь делать? – спросил он.

– Топор в руках держу, вот и весь навык. – Он опять следил за речью, чтобы не выдать себя каким-то заумным словом, в деревне это быстро заметят. – Но я перехвачу скоро, только покажи.

– Ладно, посмотрим.

Арсений и правда очень ловко перенимал все, чему учили более деловые мужики. Когда хозяин привез станок, который доску строгал, четверть выбирал, красивую фаску мог снять, что дощечку хоть сейчас на обналичку пришивай, Арсений изучил инструкцию и сам настроил агрегат. Ренев втихушку от мужиков дал ему мешок муки и пять пудов картошки. Арсений все принял с благодарностью, как и полагается, хотя ни в чем не нуждался, семейные драгоценности и сегодня имели спрос, еще в городе он продал еврей-аптекарю маменькину подвеску, сережки и кольцо. Этих денег при скромных деревенских тратах им надолго хватит.

## 4

Арсений зашел в сельсовет сдать бумажку от ишимских властей, что он по налогам задолженности перед государством не имеет. В большой комнате толпились какие-то люди, он никого в селе не знал, потому пережидал молча. За это время услышал много новостей: что нынешней осенью будет коллективизация, что увезли вчера органы двух мужиков, которые в восстании участвовали, что на днях будут церковь ломать, подбирают добровольцев. Сдав бумагу, он вышел на воздух: «И тут все то же, вся жизнь превратилась в политическую борьбу, человек не интересуется знаниями, книгами, семьей, все на собраниях, говорят и слушают речи, принимают резолюции, которые никогда не исполняются, кроме пунктов о наказаниях. Как жить? А жить надо, Станочку растить и учить». Он тяжело вздохнул и тут же отметил, что научился этому как-то незаметно.

В обеденный перерыв бригадир привел в столярку невысокого коренастого молодого паренька с котомкой за плечами, из которой торчало отшлифованное топориче:

– Принимайте дополнение, председатель сельсовета с ним договор заключил, будет в нашей артёлке.

Пришедший поклонился всем разом, поздравствовался:

– Меня Тимофеем зовут. Плотничкое дело знаю немножко, уж сколько лет работаю по найму.

– А живешь где? – Для местных мужиков странным было, что человек не живет на одном месте, а ходит по найму.

– И по разговору ты вроде не сибирской породы.

– Это верно, самарский я.

– И где это?

– Про Волгу слышали? Вот из тех краев.

– Чудно! А чё ж ты дома не робишь?

Тимофей достал топор, большим пальцем правой руки потрогал его, как струну перед игрой на балалайке, легонько вонзил в бревно:

– У меня один недостаток есть, который начальству не гля-нется.

– Тогда понятно. Вино любишь?

– В рот не беру. Но на великие праздники в церковь ухожу на службу.

Он мог бы рассказать, как неплохо устроился при большом производстве на Урале, как уважал его сам директор Иван Федорович Винярских, которому он сделал мебель для квартиры и кабинета, что вот-вот должен был отдельную комнату ему выделить в бараке. Директор дал указание строительному мастеру Кузина отпускать по его заявлению в любое время, потому что при сборке мебели в квартире обо многом поговорили эти два разных человека, а когда все закончили и за стол сели, Тимофей от рюмки решительно отказался. «Вот, говоришь, вино не пьешь, а куда же ты пропадаешь на три дня чуть не каждый месяц, мастер жалуется, говорит, надоело отпускать?». И тогда Тимофей признался, что уходит он в город на церковные службы, потому как верующий и грешный человек. Его удивило, что Иван Федорович не засмеялся, не запретил, он только сказал: «Ладно, это твое дело, а мастера я попрошу, чтобы он разговоров вокруг этого не заводил». И все вроде уладилось, но однажды подъехал директор к столярке, подозвал Тимофея: «Плохи наши дела, Кузин, меня в райком партии вызывали, кто-то донес, что я потворствую религии и прочее. Надо тебе уходить, прямо сегодня, взять тебя могут». «А вы как же?». «Как? Буду ждать, возможно, отбоярюсь, если мастер не выдаст. Сейчас буду говорить с ним, а ты собирайся, там ребята оперативные».

– В Бога, стало быть, веруешь? Тогда ты ко времени пришел, с понедельника начинают церкву ломать, вот и пригодишься, – развеселился молодой мужичок, сворачивая в бабин платок остатки от обеда.

– Ваш храм я осмотрел снаружи, он и сорока лет не простоял, красивый, точно такой под Пензой есть, и вот гляди ты, в Сибири его копия. А кто ломать будет, объявились таковые?

Мужики засмеялись:

– Хорошую плату обещают, соблазн есть, только боятся мужики.

– Бога боятся?

– Зачем Бога? Высоты боятся.

На понедельник Тимофей попросился у бригадира бревна шкурить, это в низине у мастерской, оттуда не видно, что станут делать с храмом. Несколько человек целый день ходили вокруг, поднимались на колокольню, пробовали стены ломками и пешнями. Вечером он подошел к церкви, тихонько поклонился и перекрестился, бригада добровольцев сидела кружком и распивала две бутылки водки, выданные председателем в виде аванса.

– Не подскажешь, богомолец, как нам своротить этот опиум? – пьяно пошутил старший.

– Не по себе берете, не вами строилось, не вам и взять.

– Что, думаешь, не сломам? Да взрывчатку завтра привезут, так жажнет, что на куски развалится. Велено за ночь по углам ямы вырыть. Бери лопату, участвуй!

Тимофей плюнул и пошел прочь, остановился, поклонился и только собрался было совершить крестное знамение, как услышал сзади:

– Не поможет.

Обернулся. Мужчина чуть постарше и одетый не совсем по-деревенски, стоял за спиной.

– Ничто уже не поможет, не терзайте душу и не вызывайте гнева народных масс.

– Вы кто? – испуганно и с интересом спросил Тимофей.

– Теперь крестьянин, мы с тобой в одной артели будем работать, я отлучался на денек по своим делам.

– Ты усомнился, что молитва может помочь?

– Церковь эту уже ничто не спасет, потому что советская власть так решила, а она на земле сегодня и Бог и царь.

– А я тебе скажу, что в истории было много событий, когда уже все решено, никто, как ты говоришь, не может помочь, а Господь посылал ангела, и все менялось, потому что без Бога ничто не происходит на свете.

– Интересный у нас с тобой разговор получается. Меня зовут Арсений, а ты Тимофей, мне сказали? Жить-то где надумал? Не отвечай, старуха эта зловредная, я уже успел узнать. У меня во дворе, в ограде, избушка стоит, вполне приличная, можешь занимать.

– А семья твоя?

– Жена и дочь, не бойся, лишним не будешь.

Лида поклонилась гостю и пригласила за стол. Тимофей поискал глазами иконы, не нашел, повернулся лицом к востоку и совершил молитву. Лида и Анастасия с удивлением смотрели на нового человека. Арсений одернул:

– Лида, налей нам по рюмочке. Или ты не принимаешь?

– Отчего же? Если по-доброму, глоток вина даже полезен, ведь вино создано Господом, следовательно, для пользы.

– Ишь ты, а как с пьяницами быть?

– Без меры все противно, и польза становится во вред. Со знакомством!

После ужина ушли в избушку. Тимофею понравилось: чистота, порядок. А икон и тут нет.

– Ты, случайно, не партийный? В Бога не веруешь, хотя крещен, должно быть, да и на службы ходил в старое время.

Арсений смотрел на нового знакомого, и сердце подсказывало, что этот человек не случайно появился в его жизни, что он честный и излишне откровенный, но глубоко нравственный, пусть даже исходя из понятий православной морали. Арсений настолько устал прятаться даже от себя, что появление человека, которому можно верить и с которым можно говорить откровенно о вещах, по сегодняшним понятиям, недопустимых, было ему в радость. Он давно чувствовал потребность поделиться своими переживаниями, Лидочка для этого не годится, она сразу станет ахать и жалеть его, а ему нужно понимание и даже совет.

– Не верую, это точно, хотя крещен, но в костеле, я поляк, католик, а сегодня ни то, ни другое. Была у меня любовь, ранняя, юная, мы почти детьми были, но о чувствах друг к другу знали. Потом нас разлучили обстоятельства, потом случился переворот, семья моей девушки была арестована. Мы переписывались с нею, правда, довольно редко, потому что ее положение не позволяло так открыто проявлять свои симпатии, но когда узнал про их арест, молил Бога спасти их, всю семью, грешен и в том, что соглашался на компромисс, чтобы хотя ее одну спас. Этого не случилось. Несколько лет я надеялся на чудо и искал ее среди живых, но, видимо, чудес не бывает. У нас один Бог, и у католиков и у православных, но он отказал мне в единственной просьбе. Я сказал ему в последней молитве, что отказываюсь более поклоняться, хотя знаю, что он есть.

Тимофей слушал, прикрыв глаза, ничем не мешая говорившему. Арсений замолчал. В наступившей тишине слышно было, как корова жует свою жвачку в пригончике за стеной.

– Ты вступил в спор с Богом, это недопустимо. Господь все видит, он и страдания твои видел, и ее мучения тоже, но так надлежит быть. Народ наш согрешил против Бога, едва появились смутьяны, он в одночасье отвернулся от веры. Это все на моих глазах было. Господи! Кресты с себя сдирали с хохотом, иконы жгли кострами, прости их, Господи, они не понимают, что творят! – Тимофей перекрестился. – Царя отринули, от церкви откачнулись, и вот, пожалуйста, захотели пожить без Бога – поживите. Тут и гражданская война, тут и голод с разрухой, да коллективизация, и это еще не все.

– Что же будет, по-твоему? – с интересом спросил Арсений.

– Будут еще испытания, – уклончиво ответил Тимофей.

– Тогда я тебе скажу. Возникает в мире некая сила, точно не могу сформулировать, но это новая философия, страшная, ненавистническая, по ней на земле должен быть только один народ, славян не будет совсем. Грядет большая война, весь мир будет гореть. Все, больше ничего не знаю.

Тимофей с ужасом его слушал и сразу спросил:

– А это тебе кто сказал?

– Признаюсь и в этом. Бывает, что узнаю, как будто всегда знал, такое у меня с детства.

– И сбывается? – уперся взглядом Тимофей.

– Если хочешь, назови это «сбывается», хотя я просто вхожу в новую полосу жизни, известную мне, словно это со мной уже было.

– Вот видишь, дар Божий дан тебе свыше, а ты, недостойный, сомнению подвергаешь святая святых – Господа нашего.

– Давай не будем об этом. Пока. Мы вернемся еще к этому разговору, я все хорошо обдумаю. Вот сегодня ямы копают под церковь, заложат динамит, все взлетит. Заметь, ничьего согласия не спросили, я знаю по документам, что строился храм на пожертвования купечества и крестьян прихода, значит, народом строился. А народная власть разрушает его, не спросив создателя, сам народ. Как ты это толкуешь?

– Негодная эта власть, мне один чин внушал, что коммунисты от Христа пошли, мол, он был первым коммунистом, потому что радел за народ. Чушь! Маркс ихний придумал коммуны, начали творить дела по всей Европе, во Франции сомустили народ, устроили Парижскую коммуну, на алтаре собора Парижской Богоматери совершили плутонический акт!

Арсений понял, о каком акте говорил собеседник, но поправлять не стал.

– Вот она, ихна мораль! А потом перегрызлись все, и у нас этим же закончится, прости Господи! А ты не боишься, что разоблачить могут, у тебя, похоже, и фамилия чужая.

– Честно скажу, устал бояться, не за себя теперь уже, за жену и дочь опасуюсь. Заберут – пропадут они.

– Ты вот что: попроще говори, разговор у тебя чересчур грамотный, сразу знатко, что не из простых.

– Я понимаю и все делаю, но в разговоре с тобой расслабился, это я понимаю. Ты тоже не очень свою веру показывай, не демонстрируй, они этого терпеть не могут, враз статью подведут.

– Да уж чего хитрого! Под Патриарха Тихона подыскали, а для нас, грешных, у них стеек припасено на долгие годы.

Арсений встал:

– За разговор спасибо, отдыхай, завтра сильно свои переживания не показывай на людях.

К утру в шести местах под фундаментом церкви были вырыты ямы, приехал грузовичок, солдаты сняли шесть ящиков, долго возились, устанавливая их в ниши и соединяя проводами. Ближе к вечеру все было готово, толпу отогнали от церкви подальше, старший громко объяснял, что обломки могут улететь на сто метров. Размотали провод до карьера, из которого при строительстве брали глину на церковные кирпичи, все приезжие спустились в карьер, старший дал команду, крутанули машинку.

Тимофей стоял на бугре и молился, не отводя глаз от храма. Он видел, что солдаты попрятались в укрытие, понял, что скоро конец, через мгновение землю тряхнуло, он увидел, что церковь приподнялась над землей, услышал мощный взрыв, и облако пыли закрыло небо. Тимофей упал на колени, уронил голову на землю и плакал: «Прости нас, Господи, не знаем, что творим!». Поднявшись, он испугался, не видение ли: церковь стояла на месте, он бросился с холма в деревню, подбежал к храму, сдерживая обуреваемые его чувства, смотрел на молнии трещин, порвавшие стены, на оголенные красные кирпичи, как раны на белой штукатурке.

Местное и солдатское начальство материлось и боялось наказания сверху. Председатель сельсовета уже позвонил в район и доложил, что взрыв результата не дал, ему устроили выволочку и пообещали взыскать с его зарплаты стоимость взрывчатки.

– Они мне с матерком сказали: неделя срока, чтобы церкви не было, – жаловался он неизвестно кому.

Так и разошлись, каждый при своем: разочарованные зеваки, убитый горем председатель и довольный Тимофей Кузин, получивший еще одно подтверждение того, что ничто не состоит без воли Божьей.

А уже утром, проходя на работу, он увидел возле церкви очень много народа, все шумят, и только один человек, стоящий на паперти, спокоен и уверен в себе.

– Прекратите орать, – громче всех кричал председатель сельсовета. – Пусть товарищ еще раз объяснит.

– Объясняю. Каждый копает под фундаментом яму на полтора метра глубиной, но подо всем фундаментом, чтобы он провисал, ни на что не опирался. Тем временем напилим толстых бревен, и бревна эти, как опоры, будем под фундамент подставлять.

– Ага! – Раздался возглас. – Ты туда подкопался, а она тебя и накрыла. Могилу себе рыть?! Не полезу!

– Уймите его! – Уже слезно просил председатель. – Говорите!

– Ничто не обвалится, вы же видели, что на века строилось. Опоры поставили и дальше копаем, опять опора, и так почти до половины церкви. Крепеж должен быть прочным, надо проследить, столбы ставить в два, а то и в три ряда, под всю ширину фундамента, а то и в самом деле беды натворим. Когда все выставили, везде грунт убрали, тогда заваливаем яму сухими

дровами, керосином можно сдобрить, и поджигаем по всей длине одновременно. Дрова сожгут опоры, половина церкви зависнет в воздухе и падет сама. Дело верное, промашки не будет.

– Вы бы только знали, какие деньги я ему заплатил за эту выдумку, – опять вздохнул председатель.

– Это не его выдумка, – шепнул Арсений Тимофееву на ухо. – Таким приемом еще древние разваливали стены крепостей неприятеля.

– А энтот – кто есть?

– Не знаю, видел где-то, но не могу вспомнить. Ладно, пошли.

Артель собралась, хотели начинать работу, но прибежал старший и сказал, что всем велено идти на церковь, чтоб копать посменно, без перерыва. Тимофей побледнел:

– Братцы, освободите меня от этого греха, я в другом деле отработаю.

Кто-то пытался хохотнуть, но Арсений вмешался:

– Старшой, пусть он тут робит, обойдемся.

Согласились. Тимофей принялся было вязать рамы, но инструмент валился из рук. Он вышел из мастерской и долго молча наблюдал, как до сотни людей копошатся вокруг храма, не поклоняясь, а разрушая его. Десяток подвод возили из леса двухметровые толстые бревна, на месте замеряли размер и отпиливали опору. К вечеру церковь наполовину опиралась уже на временные подставки, председатель торопил, заезжий выдумщик, как прораб, ходил и указывал, где надо усилить опоры. Под алтарем все же полегче, он невысокий и вес меньше, а под основным зданием надо надежно крепить.

– А теперь расширяйте канаву, чтобы дров больше вошло.

Дрова возили со школьного двора, из больницы, от сельсовета, даже по домам в деревне собирали в зачет налогов, поленья укладывали клеткой, чтобы тяга была. Тимофей так и не подошел ни разу, а когда стало темнеть, встал на колени и молился. Внезапно все вокруг озарилось диким пламенем, охватившим храм, керосин пролился к самому основанию, и сухие дрова занялись, языки изуверского пламени лизали стены, церковь терпеливо переносила боль, и Тимофей чувствовал это. Народ отшатнулся от страшного костра и с ужасом многие смотрели на сотворенное ими, многим жутко было, и страх возмездия проник в души. Жуткие тени незнамыми призраками металась по стенам, и каждый видел в них свои страхи.

– Посмотрите кто, опоры занялись или нет? – просил председатель сельсовета, взволнованно бегавший метрах в ста от пожарища.

– А ты сам глянь.

– Если не сгорят, подпиливать полезешь.

– И полезет, ему партийный билет дороже жизни.

– А ты бы не брякал языком-то...

Вдруг раздался хруст лопнувших стен, и восточная часть храма медленно стала оседать, как бы уходя от людей в землю. Грохотом тысяч обломков и облаком пыли, уплывшим в темное ночное небо, простился храм с потомками тех, кто его строил.

Начальство решило вторую часть ронять днем, слишком много страхов нагнало на народ ночное зрелище.

Собрание по образованию колхоза назначили на вечер в школе, народу собралось немного, в основном мужики, курить запретили сразу, потому что до утра дым не выветрится, а ребятишкам учиться надо. О колхозах уже наслышаны, знали, что неизбежно, как осень приходит, как снег валится – жди-не жди – случится, так и с колхозом. Кто похитрее да поумней, хозяйство тихонько спустили с рук, скотину где живьем, где мясом, благо до города пятьдесят верст, а там базар каждое воскресенье. Инвентарь не так просто сбыть, но и то умудрялись, Степа Каверзнев молотилку гагаринскому колхозу продал и уехал с семьей, даже дом бросил, просил кума присмотреть. Быть или не быть колхозу – это не обсуждалось, сразу стали избирать председателя. Никто не хотел в начальство, тогда партийный секретарь Яша Пономарев

предложил Ефима Рожнева, потому что коммунист, в Гражданской участвовал, грамоту знает. Объявили голосование – все подняли руки. Ефим прошел в передний угол, встал к столу:

– Доверие принимаю, будем работать сообща. Только надо бы сначала список составить, кто в колхозе член, а кто просто так пришел, потому что дома делать нечего.

Начали записываться, председатель сельсовета что-то крыжил в своей тетради, после объявил, что не явившиеся хозяева завтра будут доставлены в сельсовет и там напишут заявления.

– А с поселенцами как быть? – спросили из толпы.

– Это которые поселенцы? Никаких, все будут в колхозе.

– А если я, например, не желаю, не хочу в колхоз, тогда как? – в задних рядах встал Тимофей Кузин.

– Тогда из деревни выслем, – весело предложил председатель сельсовета.

– Ну, меня выселять много ума не потребуется, у меня всего хозяйства – мешок с инструментом. Да и права вам такого советская власть не дала. Товарищ Ленин как говорил: «Не мешайте крестьянину, он сам знает, как ему жить».

– Это тебе лично товарищ Ленин на ухо шепнул?

Арсений только сейчас увидел в первом ряду прораба на крушении церкви и только сейчас узнал его: молодчик из ЧК, который за Лидой ухлястывал и из-за которого пришлось ему долгие пять лет скрываться в тайге и на лесообработке. Кто он сейчас, если ведет себя так вольно? Впереди сидящего спросил на ухо:

– Этот уполномоченный из каких органов?

– Из самих органов и есть, начальник милиции он.

Арсений похолодел: «А что, если он Лиду встретил на улице, который день тут болтается? А если меня сейчас поднимут, ведь узнает, как пить дать – узнает, у таких глаз наметан». И тут же крикнул:

– Чернухина запиши.

– Вот это дело, – одобрил Ефим.

Но начальника милиции понесло:

– Как твоя фамилия? Отвечай быстро.

– Отвечаю, Кузин я, только почему вы со мной как на допросе, я ничего противозаконного пока не совершил.

Начальник милиции очень обрадовался:

– Вот именно «пока», потому что такие, как ты, все время подходящее выбирают, только у нас органы для того и существуют, чтобы всю контру предусмотрительно задушить еще до того, как она поднимет голову против народной власти. А что касается допросов, товарищи, то этот провокатор, который пытается сорвать первое колхозное собрание, не видел еще настоящих допросов и не знает, как непримиримы органы к врагам революции и колхозного строя. Сядь, Кузин, я с тобой потом отдельно поговорю.

Стали обсуждать, что будет обобществляться в колхозе.

– Скот весь сгонять не будем, по корове надо оставить в семьях.

– Нет, только там, где дети есть.

– Славно! – Парфен Лазарев встал с места. – У меня три коровы, я две отдаю колхозу, а Дмитрий со Степаном по одной имеют, да по куче ребятишек, это дело у них лучше получалось, чем хозяйство вести. Они что принесут в колхоз, кроме вшей с гашника?

Степан подскочил к Парфену сбоку и наотмашь ударил его по лицу, кровь так и брызнула. Поднялся шум, дерущихся свалили, пока разбирались, Тимофей с Арсением отошли в сторону.

– Надо уходить с собрания, этот уполномоченный может меня опознать, – шепнул Арсений.

Тимофей кивнул:

– Ты уже записался, а мне оставаться придется, гляди, как бы с собой не увез.

– На рожон не лезь, ты кого учить вздумал, да еще Ленина вспомнил. Он у них сейчас икона, только Ленина из них никто не читал. Будет нажимать – записывайся.

– Никогда! Да я лучше мученическую смерть приму, чем вере своей изменю.

– Ладно, у тебя понятия чуть сместились, не перечь ему, соглашайся со всем, что скажет, а там видно будет. Придешь домой – стукни в окошко.

На стук он вышел, вместе вошли в избушку, от горячей печки веет теплом, потому уютно. Тимофей был расстроен и молчал.

– Не тяни за душу, рассказывай.

– Про тебя больше не вспоминали, а меня оставил после всех, говорил вкрадчиво, противно, все выведать чего-то хотел. Я ему признался, что якобы от женщины скрываюсь тут, в стороне от дома, и адрес дал и имя указал, Анна ее зовут, под Свердловском, работал я там, если проверит, то все подтвердится, других грехов он за мной не знает.

– Про Ленина больше не спрашивал?

– Как же! Зачем, говорит, ты Ленина приплел, коли сам неграмотный, а я отвечаю, что читать могу, вот изучал труды вождя мирового. А на самом-то деле подsunул мне эту статейку старовер один, вместе мы дома рубили, вот он действительно верил, что Христос был первым коммунистом на земле. Верно, там было написано, что крестьянам не надо мешать вести хозяйство, не помню точно, но смысл такой, что не командуйте мужиком, вот что.

– Тимофей, мужик ты добрый, правильный, но не при же в лоб, не навязывай своего мнения толпе, не повторяй ошибок учителя своего.

– Кого ты имеешь в виду?

– Иисуса вашего, он все твердил о правде и об истине, и чем это кончилось?

– Ты считаешь, что можно поступиться истиной в угоду человеческой слабости? Если я верующий человек и блюду свою чистоту и справедливость для того, чтобы спастись, ты думаешь, можно отступить от заветов, поддаться соблазну, если это выгодно сейчас?

– Я тебя ни в чем не переубеждаю, говорю лишь о разумном, не кичись своей верой, они этого страшно не любят. Ну, скажи, кому легче будет, если тебя шлепнут, поставят к стенке и расстреляют как приверженца церкви и врага советской власти? Душа твоя спасется и будет в раю, но жизнь твоя на земле кончится.

– Там будет жизнь вечная, разве ты, грамотный человек, не знаешь об этом?

– Смею тебе заметить, никто об этом ничего не знает. Вот вспомни Нагорную проповедь Христа, там все правда, все, как и должно быть в человеческом обществе. Он учит: живи вот так, и ты будешь спасен для вечной жизни там. Мне грустно оттого, что христианство воспринимает все буквально, хотя истина прямо на виду: здесь, на земле, наслаждайся трудом, женщиной, детьми, живи во всю широту своей души, но соблюдай заповеди Христа, не делай людям того, чего не хочешь для себя, вот и вся премудрость. Бог все создал, ты согласен? Так пользуйся этим, он же для тебя все это создал!

Тимофей слушал внимательно и проникался все большим отрицанием услышанного, наконец, он не выдержал:

– Ты помнишь, как Сатана испытывал Господа в пустыне, чего только не обещал, с тем, как мы живем, и сравнить нельзя, но Христос ото всего отказался. Во имя чего? Чтобы мы, слабые, могли иметь пример мужества и веры, и не поддавались минутным соблазнам.

– Ладно. Ты вот только что говорил про Анну, насколько я понимаю, ты согрешил?

Тимофей смутился и покраснел:

– На мне грех, не устоял я соблазну, уж сильно хороша она, эта девка. Молюсь, каюсь во грехе, и думаю, что вернусь к ней, вот заработаю на обзаведение и вернусь. У ней ведь тоже одна бедность.

Арсений обнял товарища:

– Прости, я не хотел тебя обидеть, но дискуссия у нас была чисто теоретическая, вот я и привлек пример из жизни, не скрою, что неуместный пример.

Тимофей даже прослезился:

– Да об чем ты, Арсений, я без обиды, Бог простит.

– Давай на покой, завтра на работу, а куда нашу артель теперь определят – неизвестно.

И он тихонько вышел из избушки.

Звездное небо сияло от первых морозцев, его глубина казалась темно-синей, а только что народившийся месяц притаился между звездами, дожидаясь своей полноты и силы, чтобы затмить их, очаровать и оставить потом с тоской дожидаться его нового появления.

Арсений, как только вошел в дом, сразу заметил перемену в поведении Лиды, смятение в ее глазах, излишнее, заискивающее внимание. Она полила ему на руки теплой воды над тазом, он вымыл лицо и шею, тщательно обтерся полотенцем, сел к столу. Дочь тут же угнездилась у него на коленях:

– А к нам сегодня дяденька приезжал на машине.

– Да? Он тебя на машине не прокатил?

– Нет, он маму прокатил.

Арсений отпустил дочку на пол и встал из-за стола. Лида заплакала:

– Арсюша, милый, я тебе все скажу!

– Только не сейчас, пусть ребенок уснет.

Они сидели за столом в избе, Стана в горенке спала на кровати за печкой, самое теплое место.

– Арсюша, Форин приезжал, помнишь, тот из органов, что цеплялся ко мне в Ишиме, он теперь тут служит, в районе, начальником милиции.

– Это я знаю. Что он хочет? – Арсения была мелкая противная дрожь.

– В сельсовет меня увозил, говорит, надо документы посмотреть. – Она замолчала.

Арсений спокойно предложил:

– Продолжай. Проверили вы документы?

Она рухнула перед ним на колени и завывала в голос:

– Убей меня, родной мой, ради тебя грех взяла на душу, он так и сказал, что все про тебя знает, если откажусь – посадит тебя.

Он охватил голову руками и так сильно сжал ее, словно боялся, что она может не выдержать вскипевшего в ней горя и оскорбления. Господи, да разомкнется ли этот круг, по которому окающая власть гонит его, унижая необходимостью скрывать свое имя, скрывать ум и знания, вздрагивать при каждом незнакомом человеке, любить одну, а жить с другой женщиной, вглядываться в личико своего ребенка и видеть в нем другие черты, и все чего-то ждать, хотя ум и опыт уже учили, что ничего хорошего в его жизни не произойдет. Арсений унял волнение, с трудом спросил:

– А дальше что будет? Знал я, что в мое отсутствие вы встречались, потом он тебя потерял, видно, не очень искал, теперь вот встретились, и ты подумала, что своим грехом ты можешь спасти меня? Удивительно, что он не арестовал меня уже сегодня, чтобы ночевать с тобой в постели, а не на стульях в сельсовете. – Он поднял руку: – Не говори ни слова, внимательно слушай меня. Я сейчас уйду и уйду навсегда. Меня посадят, если не расстреляют, искать тебя не буду. Анастасию береги. Деньги ты знаешь где, расходуешь экономно. Настигнет нужда – поедешь в город, найдешь аптекаря Гольдфреда, запомни фамилию, он поможет, часть моих средств у него. В Стане твое спасение, не потеряй ее, во всех смыслах – не потеряй. Повзрослеет, скажи, что первая дочь ее и всех потомков должна носить имя Анастасия. Запомни это: Анастасия, Стана.

Он прошел в комнату, опустился перед кроватью на корточки и долго смотрел на спящее дитя свое. Встал, взял с этажерки ножницы и аккуратно срезал локон детских волосиков,

завернул в платок и положил в карман рабочей куртки. Быстро собрал вещи, бросил в мешок, остановился у порога:

– Прощай, Лида, не от него уйду, а от тебя, и помни мой наказ про Стану.

Лида метнулась было к нему, но он уже закрыл за собой дверь.

В избушку Тимофея постучал тихонько, чтобы не напугать.

– Кто? – услышал он резонный по нынешнему дню вопрос.

– Это я, Тима.

В одном исподнем стоял тот перед ним со свечой в руках и показался исповедальником, пришедшим, чтобы услышать и простить грехи его от имени Господа, но он прогнал эту заманчивую мысль – исповедаться другу своему.

– Дело скверное, Тимофей, начальник милиции Форин, который с тобой говорил, старый мой знакомый и даже соперник, можно сказать, он знает мое истинное прошлое. Ради свободного доступа к Лиде да и во имя революционной законности он ни дня не оставит меня на воле. Потому я уйду. Ты решай сам, как быть. Если спросят – я ушел не попрощавшись.

– Да куда же ты пойдешь, ведь они везде, в каждой дыре сидит по Форину. Слушай, Арсений, добрайся до Свердловска, там, в Полевском, найдешь заведующего больницей, его зовут Василий Алексеевич, скажешь, что я направил. Он работу даст и приют, а потом оглядишься. Может, и мне сразу с тобой?

Арсений качнул головой:

– Не надо, так нас быстро найдут. Весной приезжай, если захочешь. В саду под грушей с восточной стороны закопан сверток в пергаменте, там бумаги и еще кое-что, когда соберешься, ночью отроешь. Об этом даже Лида не знает. Найди к тому времени фотографа, карточки мне с Анастасии привезешь. Ну, прощай, брат.

– До встречи.

Они обнялись.

## 5

В ту июньскую ночь над Вакориным прогрохотала такая гроза, какой не помнили даже старики. Отдельно стоявшие березки в придеревенском лесу, где обычно брали веточек на первые свежие веники, подломило и обобрало с них молодой лист. Всю воду домашнего озера подняло и согнало к устью Кашинского лога, устье расперло напором стихии, и оно расшперилось, разомкнуло берега, пропустив озорную, буйную воду в Нижнее болото. Стога сена только тем и спаслись, что спрятались в лесу, сам лес выстоял, потому что стеной стоял гибкой, местами гнулся, но нигде не сломался.

Василий, объезжая окрестности верхом на отцовской бригадирской лошадке, больше всего был удивлен способности леса, огромного массива слабосильных березок и осин, устоять против такого напора. Даже вода не устояла, а он устоял. Приехал домой, рассказал отцу.

– Хорошо, что сена сохранились, видно, по-хозяйски уметаны стога, молодцы, мужики.

Колхозная жизнь летом не замирает ни на один день, потому что скотина и по выходным кормится, и в праздники надо коров доить, а мужики где с техникой, где вручную стараются сенов заготовить поболее, чтобы зимой не заглядывать на сеновал: а хватит ли до зеленой травки?

Вечером из Копотиловской МТС приехал нарочный по заданию райкома, по случаю непогоды приехал верхом, без седла, с непривычки кое-как слез с лошади и нарасшарагу поковылял в правление. Первого, кого встретил, отправил за председателями колхоза и сельсовета, а заодно и весь народ скликать на митинг. Собрались быстро, нарочный велел вывесить над крыльцом правления красный флаг, толпа похохатывала над Митей Грязненьким, который три гвоздя согнул, пока палку приколотил к балясине.

Нарочный дождался, пока все успокоится, и снял кепку:

– Товарищи! Меня направил к вам районный комитет большевиков, чтобы сообщить важное сообщение: сегодня утром фашистская Германия напала на нашу страну. Это война, товарищи, а не провокация. Партия призывает всех граждан к соблюдению порядка, объявлена мобилизация, повестки привезут в сельсовет.

Стон прошел по толпе, как будто умер внезапно кто меж людей. Переглядывались мужики, бабы начинали выть, выпуская сдавившую сердце боль, и был этот плач русских баб тошнее для мужиков, чем объявленная война, завтрашняя мобилизация и даже возможная смерть в бою, потому что так оплакивают только необъемное горе. Так вдовы воют на кладбищах, так по деткам утраченным воют, и плач этот страх должен нагонять на врагов, потому что не только горе в нем слышится, но и отмщение, и проклятье, и кара Господня.

– Обождите, товарищ уполномоченный, у нас с Германией мирный договор. Как она могла его нарушить? – возмутился старичок Евлампий Сергеевич.

– Не могу сказать, товарищ, инструкции не было.

– А ты чего от фашиста ждал? – крикнул Ганя Корчагин. – Мира? Он всю Европу на лопатки положил, а мы с ним все хаханьки устраивали, вот и доигрались!

– Товарищ! Товарищ! Прошу без провокаций! – испугался нарочный.

– Да какая там провокация, когда враг на твоём огороде каштует, – сжался Ганя.

Федор Кныш поднялся на крыльцо:

– Похоже, мужики, всем боеспособным надо бы сухарей подсушить, дома все подобрать, крышу перекрыть или прясло подладить. Неизвестно, сколько мы с ним провошкаться, это только в песне про пядь земли, а если он внезапно начал, значит, готовился, как следует, значит, танками сотни верст может в сутки делать. Ну, это поправимо, нам только подпоясаться... Завтра на работу все, как штык, будут повестки – нас знают, где искать.

– Федя, брагу заводите на случай..., – начала было Татьяна Петровна.

– Какая брага, когда на повестке уж чернила подсыхают. Даже и не придет, сам поеду в военкомат.

– Ты что, Федя? А ребятишки?

– А страна? – в тон ей возразил Федор. – Попрячемся за болотами да за рямом, авось, не найдет немец, так, что ли? И такие разговоры прекратить! Я коммунист, и Васька вот подрастает, я подозреваю, что ему тоже достанется от трудов моих и тут, в колхозе, и там, на фронте.

– Папка, а в школу не ходить? – спросил Василий.

– Другая школа начинается, сынок. Завтра переговорю с председателем, чтобы подыскал тебе дело по силам, все-таки ты у нас грамотей.

Повестки за неделю выхватили всех работоспособных мужиков. Газеты приходили на третий день, и новости за нездоровым оптимизмом просматривались угрожающие. Враг пер на Москву и Ленинград, стремился к Сталинграду и Кавказу. Райкомовская инструкторша привезла указание избрать председателем колхоза Дарью Зноенко, та со слезами отказывалась, потому что малограмотная, кое-как фамилию выводит.

– Этого достаточно, главное, чтобы колхоз работал, – подытожила инструкторша.

Дарья пришла к Кнышам:

– Вася, айда в колхоз счетоводом, я же ни одной бумажки не знаю.

– Тетка Дарья, какой из меня счетовод, я и колхозных документов в глаза не видал.

– Не скажи, Василий Федорович, у тебя семь классов за плечами. Короче говоря, завтра выходи, как Филимоновича забрали на фронт, так все бумаги и лежат.

Деваться некуда, вышел, потому что поздно вечером закрепить аргументы Дарья пришла председатель сельсовета Федора Унжакова:

– Ты, Василий Федорович, не ломайся, принимай дела, а то знаешь как: «по законам военного времени», – и она угрожающе подняла палец. – Да и мне подскажешь, что к чему, у меня ведь тоже кроме партбилета один ликбез, – уже примиряюще улыбнулась она.

Новому колхозному счетоводу Василию Федоровичу только что исполнилось шестнадцать лет.

В ночь на двадцать второе июня красноармеец, курсант школы ковалей, или, как ее называли солдаты, конской школы, Тимофей Кузин был в наряде. Его пост – угловая вышка, под которой склад с конской сбруей и сарай с телегами, но все равно пост, проверяющий приходил, «Стой, стрелять буду!» приходилось кричать, хотя ходил всегда один и тот же старшина школы Шевчук. С вечера было тихо, совсем безветренно, но для приволжской степи это обманчивая тишина, в любой момент может рвануть ветер, и тогда пыль взвевется столбом, дикие вихри поднимут засохшую степную траву, сломленные кустарники и долго будут кружить их над степью, пока надоест, а потом бросят где попало. Ближе к полуночи с запада потянуло прохладой, потом только что светлое небо накрылось тучей, да и не туча это, а сплошной низкий морок, и надвигался он на Тимофея, одиноко стоящего посреди земли, угрожающе и с напором. Скоро смена караула, хоть бы не началась буря, а то бежать через весь плац до казармы под ливневым дождем, а у него и плащ-палатки с собой нет. Тьма закрыла уже половину небосклона, когда по границе ее засверкали далекие молнии, как зарницы, и громы свалились на неожиданную их землю, ударясь о нее и раскалываясь на мелкие раскаты.

Тимофей крестился при каждой вспышке неба, приговаривая: «Спаси и помилуй, Господи Иисусе!», хоть и оглядывался, не появился старшина Шевчук, который на днях предложил курсанту Кузину вступить в партию большевиков. Тимофей знал, что категорически отказываться нельзя, потому сослался на малообразованность, а вечером политрук Илюшня забрал у него все конспекты, через полчаса пришел, швырнул их на кровать и грозно спросил:

– Кузин, ты зачем врешь, что малограмотный? Судя по конспектам, врешь ты сознательно, потому что не хочешь в партию вступить. А теперь объясни мне настоящую причину.

Кузин замялся:

– Вы бы мое личное дело посмотрели, товарищ политрук, я же сидел по нехорошей статье.

– Видел, даже запрос делал, отсидел ты правильно, потому что нельзя местную власть игнорировать, но тебя же освободили, значит, перевоспитали, осознал, значит, свои заблуждения. Служишь ты исправно, хоть и не со своим годом. Ты с какого?

– С тринадцатого. Нынче демобилизация.

– Ну, с демобилизацией пока вилами по воде. – Илющенька кашлянул: лишнее сказал.

– Все-таки будет война, товарищ политрук?

– Ты такие вопросы только себе можешь задавать и то темной ночью под одеялом. Товарищ Сталин верит Гитлеру, значит, есть основания. Наше с тобой дело быть в боевой готовности, конную тягу артиллерии обеспечить. И о партийности подумай, в случае демобилизации никаких проблем с трудоустройством не будет.

А небо играло в свою игру, словно забавляя одинокого солдата. Молнии сжигали черноту, освобождая знакомые звезды, дождя так и не случилось, а ветер побаловался чуток и тоже перестал. Черное покрывало скатывалось к горизонту, и на душе Тимофея стало посветлей, он благодарил Бога за зримый показ ему своего могущества, а потом вспомнил слова священника Тихона: ничто ни в небе, ни на земле не происходит без его желания или разрешения, и, если человеку дано это видеть, то он должен понимать, что хотел внушить ему Господь. «Ведь нас так много на свете, чад его, и как пастух не может знать всех овец в стаде и каждой говорить, куда ей пойти, какую травку кушать и какой водой утолять жажду, так и Пастырь небесный не может говорить с каждым, такая слава снисходила до редких праведников, мы же, в лучшем случае, можем видеть знамения Господни, когда он соблаговолит подать знак людям, что он недоволен родом человеческим и грозит послать свою кару».

«Если мне выпало видеть это явление чудесное, то и понять мне надо его самому, потому что к политруку с такой загадкой не пойдешь. А не явил ли Создатель черное нашествие с западной стороны, и не предупреждает ли тем, что война скоро случится, что до середины неба и земли нашей дойдет черная сила, а потом пошлет Господь Илью Пророка с воинством, и возвосятся священные молнии, и ударят громы, и сгорит вся чернь в рукотворном и нерукотворном огнище».

Пришла смена, Кузин в казарме тихонько разделся и прилег на кровать. Со второго яруса свесил кудрявую голову сибиряк Сема Золотухин, спросил шепотом:

– Гроза на дворе?

– Нет, улеглось. Сема, только никому не скажи, было сейчас на небе знамение, и я так понимаю, что война все-таки придет.

– Тихе ты! Услышат – в паникеры запишут.

– Точно тебе говорю, такие явления редко бывают и неспроста.

– Ладно, спим.

После подъема Кузин мог бы еще поспать после ночного караула, но посыльный из штаба велел ему срочно бежать к политруку.

Политрук Илющенька сидел за столом и читал какой-то документ. Кузин доложил.

– Садись. Так говоришь, война все-таки будет?

Тимофей побледнел, но отказаться от веры он не мог, потому признал:

– Так точно, товарищ политрук, будет и достаточно скоро.

– Откуда у тебя такая информация? Только не крути, говори, как есть, обещаю, что наш разговор останется в этом кабинете. Говори.

– Скажу, товарищ политрук.

И Тимофей рассказал все виденное ночью, прокомментировав так, как понял сам.

– Ты веришь в Бога?

– Верую во Единого Бога нашего.

– Ладно. О виденном и о нашем разговоре больше никому.

На столе политрука звякнул аппарат внутренней связи. Он взял трубку и тут же положил ее на место.

– Ты прав, Кузин. Сегодня на рассвете немцы перешли нашу границу. Это война. Беги, объявлено всеобщее построение.

В начале июля в лагере заговорили о войне, точно никто ничего не знал, начальство помалкивало, вопросы задавать не полагалось, тем более политическим, но уголовники из соседней зоны иногда делились подробностями. Выходило, что немцы напали еще двадцать второго июня, громят наши войска по всем фронтам, советские армии охотно сдаются и переходят на сторону Гитлера. Бывший среди политических генерал Невелин открыто говорил, что это чушь, войска сопротивляются, но внезапность удара, о возможности которого говорили старые вояки, позволяет технически подготовленному противнику легко опрокидывать нашу оборону. И о добровольной сдаче армий в плен – провокация, глупость.

Пятнадцатого июля вечером генерала вызвали в контору. Начальник лагеря встретил его дружелюбно, выгнал конвой, предложил чай и папиросу.

– Благодарю, гражданин начальник, от чая отвык, а курить бросил сразу после приговора, слышан, как трудно в ваших учреждениях с куревом.

– Игнатий Матвеевич, – неожиданно так деликатно обратился к зэку начальник. – Я хорошо знаю ваше дело и уверен, что в связи с новыми обстоятельствами его пересмотрят, фронту нужны грамотные командиры.

– Вы можете мне под честное слово о неразглашении сказать истинное положение на фронтах?

Начальник помолчал, хлебнул чай, встал:

– Положение тревожное, он наступает по всей линии от Балтики до Кавказа. До Москвы рукой подать, Ленинград под угрозой. Наши потери огромны, даже те, о которых сообщают. Мы получили команду срочно выявить добровольцев среди заключенных и оформить дела на досрочное освобождение, я просил бы вас помочь.

Невелин уточнил:

– Политические, конечно, не рассматриваются?

Начальник приободрился:

– Разрешено, конечно, но не все статьи. В отношении высшего комсостава, ученых, хозяйственников будет дополнительная работа. Я просил бы вас выступить завтра на утреннем разводе. Игнатий Матвеевич, вас знают все, вас уважает контингент, ваше слово много значит. Вы согласны?

– Это будут арестантские роты?

– Не для всех, вся мелочь пойдет в войска, более серьезные статьи формируются в так называемые штрафные батальоны. Есть шанс получить амнистию после ранения. Правда, тонкостей я не знаю.

Невелин молчал, хотя понимал, что отказаться он не имеет права, возможно, завтрашнее слово и будет первым его ударом по врагу.

– Я буду говорить, гражданин начальник, но буду говорить так, как считаю нужным. А после этого хоть в карцер.

– Да перестаньте! Вас вызвать на развод?

– Зачем? Я сам найду место, где спросить слова.

Весь лагерь построен буквой П, такое редко случается, например, при групповом побеге или объявлении результатов проверки коллективной жалобы в Москву, как всегда, не подтвердившейся. Начальник лагеря сообщил о войне с Германией, о временном отступлении наших войск и о необходимости пополнения живой силой.

– Родина обращается к вам, осужденным и отбывающим наказание, с предложением добровольно пойти на ее защиту. Это касается всех, но отдельные статьи будут рассматриваться особо. Заявления будете писать в отрядах на мое имя. На это дается час времени перед работой. Есть ли желающие высказаться?

– Начальник, Украину сдали?

– А Минск?

– Ростов?

– Тихо! – рявкнул начальник. – Я такой информации дать не могу.

– Значит, точно сдали...

И тут раздался упругий командирский голос:

– Гражданин начальник, заключенный Невелин, статья пятьдесят восемь, пункт три, разрешите слово сказать?

– Разрешаю.

Невелин вышел перед тысячей мужчин, даже в хэбэшной робе в нем просматривался военный человек.

– Чтобы не было кривотолков, признаюсь, что вчера начальник просил меня выступить. Однако признаюсь и в том, что и без того разговора я бы не спрятался за спины своих товарищей. Наша родина в серьезной опасности, видимо, плохи дела, если власти обращаются за помощью к тем, кого вчера отгородили от общества. Мы все осуждены, кто за преступление, кто за проступок, кто за неверное слово. Но осудила нас не родина, нас посадило сюда государство, а это разные понятия, товарищи. Власти могут меняться, но родина остается всегда. И сейчас она просит нас защитить ее от захватчиков. Вы знаете, я боевой офицер, генерал, потомственный военный, мои предки служили и царям, и Отечеству. Я участвовал в Финской кампании, мы ее позорно проиграли, мой анализ причин поражения не понравился начальству, и вот я здесь. Сегодня, к сожалению, Гитлер подтверждает объективность моих выводов. Но не время сводить счеты и предъявлять обиды. Я прошу руководство лагеря ускорить рассмотрение моей просьбы отправить на фронт в любом звании и в любом качестве.

– Там ведь и убить могут, генерал, – крикнули из толпы.

– Если ты меня смертью пугаешь, то зря язык о зубы трешь, смерти я не боюсь. Лучше умереть в бою за Родину, чем гнить в бараке.

Толпу пошатнуло:

– Прав генерал!

– Распускать сходяк, будем маляву писать.

– Во втором отряде бумаги нет, всю в галюн стаскали.

Начальник лагеря скомандовал:

– Всем отрядам разойтись по своим баракам, рабочие задания получите на месте.

Невелин в строю стоял рядом с крестьянином Чернухиным, и на нарах они спали рядом, холодными зимними ночами согревая друг друга. Чернухин был довольно замкнутым человеком, только Невелин замечал, что тот больше, чем деревенский мужик, иногда в беседе он так выразительно проговаривался, употребив редкое слово или выдав такое неожиданное суждение, что генерал смущался. Спрашивать в лагере не принято («вопросы задают в конторе»), а сам Чернухин о жизни своей докаторжной помалкивал. Прошлой зимой жестокая простуда свалила Чернухина, ему дали освобождение, и день он пролежал на нарах, к вечеру температура поднялась, начался бред, в котором Невелину приходилось даже рот прикрывать больному. Он говорил что-то об Анастасии, называя ее «Ваше Высочество», потом переходил на польский, очень чувственно, со слезой, как бы читал заученные тексты на французском и английском – Невелин помнил кое-что еще с петербургской юности. Ребята насобирали по всему бараку таблеток, Невелин сбегал в санчасть, мест там не было, но лекарства дали. К утру Чернухин успокоился и уснул, кризис прошел.

Через два дня, работая пилой в паре, он, узнав, что бредил, с опаской спросил соседа, не говорил ли в бреду чего-либо необычного.

– Говорил, бугру было что послушать, но нам это не интересно, как вы сами понимаете.

Арсений остановил пилу:

– Что сказал, повторите, это крайне опасно?

Невелин кратко пересказал бредовые речи, упомянул про иностранные языки:

– Не переживайте, кроме меня никто не слышал, иначе давно бы поинтересовались, где сибирский крестьянин получил столь приличное образование. Я и раньше замечал за вами проколы, но стеснялся заводить речи об этом.

Чернухин сел на бревно, вытер мокрое от пота лицо несвежим полотенцем, силы еще не вернулись к нему:

– Спасибо, генерал, я действительно такой же крестьянин, как и архиерей. Если коротко, поляк по происхождению, родителей Государь отправил в Сибирь, а органы прибрали после Гражданской. Меня спас тиф, потом соседка, сердечная русская женщина, приняла меня вместо сына, умершего от тифа же, его паспортом прикрыла от новых властей. С дочкой ее, Лидой, случились у нас чувства, но сложно скрывать, окраина городка, почти деревня. А за Лидочкой стал ухаживать молодой милиционер, она мне и сказала, что он подозревает. Тогда я махнул на Урал, пять лет скрывался, думал, все улеглось. Ан нет, с тем чекистом опять пути схлестнулись, и вот я здесь.

На второй день, попав вдвоем на ремонт завалившегося банного дымохода, они наговорились сполна.

После построения по поводу войны и добровольцев Арсений спросил:

– Генерал, вас действительно могут отпустить на фронт?

– Не знаю, это будет решаться чуть не у Берии.

– Мне не совсем понятна ваша логика, России прежней уже нет и никогда не будет, эта власть вас низвела до раба на лесоповале, но вы готовы ее защищать и даже призываете к этому других. Я знаю, вы порядочный человек, но как это все совместить?

– Вопросом на вопрос. Вы подадите заявление?

– Скорее, нет. И не потому, что я поляк, нет, моя родина – Россия, но как можно воевать за власть большевиков, уничтоживших мою родину и создавших страшное государство?

– Но родина осталась. Представьте на мгновение, что будет с Россией и русским народом, если Гитлер дойдет до Урала? Это не только гибель нации и русской государственности, это крест на цивилизации, в ее интеллектуальном аспекте, это возврат к средневековью на новом техническом уровне.

– Давайте решим так: если вас отзовут на фронт, я пишу заявление добровольца. Но там мы вряд ли встретимся.

– Война большая, но она одна, встречаться не обязательно, важно победить.

Люди не замечали, что слово «война» изменилось по смыслу, оно всегда было в русском языке, с начала века не забывалось: то японская, то германская, то империалистическая, перешедшая в Гражданскую. Эта война была страшной, потому что впервые на человеческой памяти сознание людское перевернулось, сместились понятия, вроде внутри страны жили, своим народом, а сосед соседу враг, брат брату враг, не было фронта в обычном понимании, в каждой деревне линия обороны проходила, в каждой семье, в душе нередко возникали у людей сомнения вплоть до перемены убеждений и смены флага над головой. Потихоньку все успокоилось, хотя отголоски гражданской до последнего времени доносились глухими раскатами: там взяли группу бывших, тут разоблачили. Эта война, сразу названная Отечественной, то есть, за Отечество, за Родину будем воевать захватчика, воспринималась как великое испытание, как проверка на жизнь. Пусть говорили пропагандисты о борьбе двух систем и идеологий, пусть писали газеты о верности советского народа родной власти и родной партии –

все было проще: со времен татар и монголов, со времен униженного состояния порабощенного народа в сознании вызревало и формировалось понимание сути национальной независимости, в гены потомкам передавалось предостережение от всякого рода соблазнов поискать покровительства под чужими хоругвями или под иной верой, нравственной необходимостью стало жить своим народом, своим миром. Советская власть крепко ломанула народное тело и народную душу, но устоял нравственный хребет, убереглось понимание родины как чего-то неизменного, вне зависимости от названия властей и цветов флагов. Не умея часто сформулировать свое убеждение, люди шли в бой, не особо задумываясь, потому что так нужно было, умирали на бегу, натываясь на встречную пулю или ловя снарядный осколок, раненые, мучились в госпиталях, кое-как подлечившись, возвращались к своим или шли на распределительные пункты.

Генерала Невелина увезли в Москву самолетом вместе с несколькими высокими чинами, набранными в соседних лагерях. В последний вечер вокруг него собрались товарищи, с кем сдружился за год работы в тайге.

– Сожалею, что не все вместе уходим, но обещаю, что буду хлопотать перед властями за каждого. Вам, Чернухин, настоятельно рекомендую заявление все-таки написать, и уже с фронта дать мне весточку.

Арсений заявление написал, его вызвал какой-то чин из конторы, небрежно спросил:

– Военской специальности нет? В армии не служил? Статья серьезная, хотя состав преступления малозначителен. Жди, рассмотрим, но зачисления в регулярную армию не гарантирую, в лучшем случае – штрафбат.

– А что это такое?

Офицер снисходительно на него посмотрел:

– Это команда врагов советской власти, решивших искупить свою вину кровью. Погиб – реабилитирован, ранен – переводят в войска.

Арсений изначально понимал, что лагерники будут использоваться в самых опасных операциях, но не думал, что все будет обставлено так цинично буднично и откровенно. Из лагеря их набрали больше ста человек, пешим строем и под усиленной охраной довели до узкоколейки, платформы с добровольцами паровозик дотащил до полустанка. Долго ждали теплушки, еще в двух местах жгли костры и толпились такие же оборванные и безразличные люди. Подали «телятники», в каких возили эков, так же под охраной дошли до Свердловска. Только что освободившиеся казармы ушедшей на фронт команды приняли новый состав.

## 6

Штрафники шли к фронту, и фронт шел им навстречу. Арсений, не служивший в армии и не знавший ничего, что касается ее порядков и организации, все равно понимал, что вот эта толпа безразличных в основном и деморализованных людей ни при каких обстоятельствах не будет боевой единицей. Уголовники верховодили и здесь, как в лагере, командиры не появлялись, и откровенных столкновений, драки и резни удавалось избежать только потому, что политические держались дружно. Кормили один раз в день, тут же, у котла с кашей, выдавали сухари и соленую рыбу, все съедалось в один присест, и в пути сохло в горле, у колодцев и родничков ругались и толкались. Арсений ни во что не вмешивался, держался особняком, среди полутора сотен мужиков, одетых в бэушную солдатскую форму, непростиранную, со следами крови и пугающими дырками от пуль и осколков, несложно затеряться, но внимание к себе он замечал.

На ночном привале подсел конопатый паренек с раздвоенной после драки верхней губой, худой и шелудивый, чем вызвал отвращение Арсения.

– Мне велено переговорить с тобой, чтобы ты от стаи не отбивался. – Парень щурился и шепелявил – пару зубов при том ударе он все-таки потерял. – Пахан велел подойти, когда все угнездятся. Понял?

Арсения мелко колотил гнев, но он ответил спокойно:

– Не пойду. Так и скажи: один я, один и останусь.

Парень усмехнулся:

– Ты хоть знаешь, о ком базаришь? Ему тебя пришить – раз плюнуть. Да мне же прикажет, и мамкнуть не успеть.

– Кончен разговор. – Арсений тяжело поднялся: три дня пешего перехода и бескормица вымотали его окончательно. – Вали отсюда и успокой своего пахана: под него не лягу.

– Ладно, мое дело – сторона. – Визитер неохотно встал. – Я ему скажу, что ты завтра подойдешь для личной беседы. – Он криво усмехнулся. – Не буду себе ночь портить дурными вестями, пахан кодлу сбивает, чтобы на передовую в боевой готовности прийти, так что маракуй, пока время есть.

Арсений взял котелок и пошел к реке, пить сильно хотелось, да и пустой желудок водой наполнить, все меньше сосет. В десяти шагах остановил часовой, лязгнув затвором.

– К реке за водой можно?

Солдат подошел ближе:

– Принеси и мне котелок, больно пить хочется. Только не вздумай бежать, пуля догонит.

Арсений промолчал, подошел к берегу. От воды несло запахи речной зелени, квакали лягушки, белели в темноте не плотно закрывшиеся кувшинки. С правой стороны мрачной серой стеной стоял камыш, слева плес, мелководье, утки спят, положив головки под крыло. Как мирно! Как прекрасна жизнь! А что он? В кампании человеческих отбросов идет на верную смерть. Нет, он не раскаивался, что вызвался добровольцем, он всегда помнил слова генерала Невелина, что лучше погибнуть в бою, чем гнить в бараках, и даже сейчас соглашался с ними, но как глупо складывалась жизнь! Только несколько дней из сорока с лишним лет виделись ему светлыми, солнечными. Лицо Анастасии, девическое, почти детское, с капризной губкой и озорными глазницами, и строгое, страдающее, взрослое в проеме полутемного вагона, всегда было с ним. Он жил этим образом, стараясь не вспоминать о Лиде, о девочке с родинкой за ушком, он понимал, что виноват перед ними, но уйти в ту жизнь уже никогда не сможет. Да и доведется ли делать выбор, даст ли суровая судьба шанс остаться в живых? Лучше не думать об этом, он привык готовиться к худшему и почти никогда не ошибался.

Солдат проворчал, почему так долго, и жадно припал к котелку. Арсений заметил человека на полпути к кострам, тот явно старался быть незамеченным. «По мою душу... Может, вернуться к часовому...?». Арсений подавил страх и пошел навстречу.

– Чернухин, подойдите сюда, здесь света от костров меньше.

Арсений присел на корточки и приложился к котелку. Вода была теплой и пахла тиной, но он не замечал, пил крупными глотками, выигрывая время, чтобы унять противную дрожь.

– Моя фамилия Штепель, генерал Невелин просил за вами присмотреть и помочь, в случае необходимости. Знаем, что к вам подходили уголовники, знаем, что вы отказались участвовать в провокации. Потому предлагаю присоединиться к нашей кампании, политические, как вы заметили, держатся дружно. Одного вас уберут. Что скажете?

Арсений молчал. Он не разделял взглядов этих романтиков от революции и не верил в их завтрашний день, ему противны были заверения в неизбежности грядущего счастья всего человечества, которыми они завершали все ночные дискуссии в бараке, но выбора нет, и ему придется примкнуть к политическим. Да и статьями они родственники, так что все логично.

– О какой провокации вы говорили?

– Уголовники рассчитывают получить оружие и воспользоваться им для освобождения.

– Это же полный бред, какое освобождение, нас даже безоружных охраняют автоматчики.

– Они думают уйти за линию фронта. Мы решили предупредить командование. Как вы считаете?

Арсений невольно улыбнулся:

– Странные вы люди... Неужели военные столь наивны, что позволят вооруженным уголовникам вести себя, как им хочется? Мы с вами в штрафной команде, ничего не изменилось, и в бой мы пойдем при усиленном сопровождении, не исключаю, что вообще без оружия.

Штепель, видимо, был озадачен:

– Полагаю, такое невозможно, оружие выдадут, как иначе? Мы же просились на фронт воевать, а не...

Он не смог найти нужного слова и замолчал.

– Спасибо вам за заботу, господин Штепель, я вашим предложением воспользуюсь. – Он поднятой рукой остановил метнувшегося собеседника: тот явно хотел возразить против господина. – Сейчас же подойду к вашему костру, но о докладе начальству советую подумать, вы же знаете, что они с уголовниками быстро находят общий язык, когда дело касается вас. Извините, я пойду, очень хочется спать.

К обеду следующего дня колонна вышла в распоряжение воинского подразделения, солдаты настороженно смотрели на разномастную толпу грязных и заросших щетиной мужиков. Эков накормили в сторонке, построили, провели перекличку. Рослый молодой мужчина в солдатской гимнастерке без погон, в офицерском галифе и хромовых сапогах, светловолосый, гладко выбритый, встал перед строем:

– Я назначен командиром отдельной штрафной роты, так называется наше подразделение. Моя фамилия Шорохов. Звания нет, обращаться по должности. К вечеру назначу командиров взводов, а сейчас всем отдыхать.

Арсений бросил свой мешок в тени чахлой березки и лег на спину. Безысходность и неотвратимость чего-то страшного угнетали его. Прошел слух, что завтра роту могут бросить в бой. Ничего странного, товарищи командиры, конечно, не знают, да и знать не хотят, что очень многие из вновь прибывших, как и Чернухин, не держали в руках винтовку, для них это не важно, у них свой взгляд на полторы сотни вчерашних заключенных, пожелавших пойти на защиту своей Родины. Они не дадут себе труда разобраться и развести по разным сторонам отъявленных уголовников, готовых ударить в спину и уйти за линию фронта, и таких, как Штепель и его товарищи, искренне уверенных, что их участие на фронтах поможет стране, партии и народу. Странные люди, но Чернухин был удивлен их доброжелательным приемом: Штепель назвал его

товарищем генерала Невелина, и Арсений не стал возражать. Потом ему объяснили, что все политические объединены в партийную организацию ВКП (б), руководит ею товарищ Головачев, до ареста был секретарем обкома, из рабочих, убежденный большевик.

– Насколько я осведомлен, вы в партии не состояли, – сказал Головачев. – Но рекомендация генерала дорогого стоит, потому мы считаем вас своим. Вы не возражаете? Хорошо. Товарищи, нам следует просить командира роты, чтобы нас объединили в один взвод. Я бы не хотел идти в бой рядом с уголовником.

Партийного лидера поддержали, и Арсений не стал вмешиваться со своими рассуждениями, что ротный командир постарается разбавить стройные идейные ряды ненадежными элементами. Так и случилось. Когда зачитали повзводные списки, партийцы почти равными долями оказались во всех трех подразделениях. Возмущенный Головачев подошел к Шорохову:

– Разрешите, товарищ командир роты?

– Разрешаю, но товарищей тут нет. Говорите суть.

– Мы хотели бы создать отдельный взвод бывших политических.

– Что еще?

– Больше ничего, – растерялся Головачев.

– И на том спасибо. Запомните: приказы командира не обсуждаются. Мы все здесь одной породы, штрафники, люди вне закона, никаких различий по чинам и званиям. Почему я должен вам это разьяснять? Вы не служили? До ареста кем были?

– Секретарем обкома партии.

– Я месяц назад полком командовал. А, возможно, завтра пойду с вами в атаку впереди танков, без артподготовки. Вот так, товарищ секретарь. Рота должна выполнить задачу, и она выполнит или погибнет. Все, идите, я и без того много вам наговорил.

Ранним утром, еще до рассвета, всех потихоньку подняли, кое-как построили. Ротный дождался относительного порядка.

– Рота, слушать внимательно! В двух километрах деревня, которую нам предстоит взять. В деревне до роты немцев. Пойдем тихо, первый взвод прямо по дороге, второй слева, третий обходит справа. Взводные установку получили. К восходу солнца объект должен быть нашим. Для всех вас это первый бой, потому проявляйте мужество и хитрость, по возможности. И еще. Только вперед, за трусость расстрел на месте. Назад не советую, нас прикрывают автоматчики СМЕРШа. Все. Выдать оружие!

Из кузова полуторки солдаты совали в толпу винтовки, рядом старшина давал по пригоршне патронов. Арсений отошел в сторону, дернул затвор и вставил патрон.

– Разобрался? Меня товарищи попросили быть с вами. – Молодой мужчина, Арсений видел его среди политических, тоже обихаживал винтовку. – Взводный у нас военный человек, пойдемте, он просил собраться.

У полуторки поднялся шум, винтовок не хватило, почти половина штрафников осталась без оружия. Рябой, знакомый Чернухина, суетился и кричал:

– Беспредел! Я не кабан из пригончика, чтобы на забой идти! Ротный, не пойду без ружья!

Ротный рявкнул:

– Прекратить вой! Приготовиться к броску! Пойдем легкой рысью, и чтоб тихо! Безоружные винтовку добудут в бою. Пошли!

Быстрым шагом, а потом и трусцой направились в сторону деревни. Рябой пристроился рядом с Чернухиным, бежал тяжело, сипя прокуренными легкими.

– Ты не бойсь..., не трону..., ждть буду..., когда тебя убьют..., винтовку захвачу, – переводя дыхание, выговорил он.

Арсений плюнул и прибавил шаг, но скоро вся цепь остановилась. «Идти тихо, впереди посты».

Странное дело, но Арсений так и не мог принять как реальность, что он идет в бой, что в руках у него оружие, которым он должен убить человека, что стоит ему чуть ошибиться, и тот убьет его. Как все просто! Он мог бы признаться себе, что никогда не нажмет на крючок винтовки, не сможет, потому что не знает за собой такого права, и пусть тот, что напротив, берет его на мушку, пусть стреляет – его жизнь уже ничего не стоит, даже этого выстрела. Он шел навстречу бою, не ощущая тех, кто рядом, шел один и в этот раз, как почти всегда в жизни.

Раздалась густая стрельба впереди, яркая ракета неожиданным солнцем вошла над деревенской околицей, неуместное «ура» пронеслось по рядам, цепь радостно рванулась навстречу огню. Арсений видел, как упал рябой напарник, упал неловко, лицом вниз, подвернув под себя безоружные руки, в рассветных сумерках видел вспышки выстрелов от деревни, бежал, не пригибаясь и не поднимая винтовки.

Все закончилось как-то неожиданно, немцев в деревне не оказалось, стреляли солдаты передового охранения, которые не стали ввязываться и умчались на трех мотоциклах. Ротный собрал командиров взводов и приказал на всякий случай окапываться, потому что противник даже столь незначительного прорыва не простит и ударит, а команды возвращаться нет и не будет.

Арсений копал влажную глину, укладывая по краям окопа пласт за пластом, рядом устраивал окопчик Головачев, рукав его гимнастерки побурел от крови.

– Вы ранены?

– Зацепило чуть, а забинтовать нечем, рубашку порвал, только все равно мокнет.

У Арсения в мешке лежал перевязочный пакет, вчера солдатик молодой дал, сказал, что без того в атаки не ходят. Головачев снял гимнастерку, сдернул пропитанный кровью обрывок рубахи, Арсений протер рану и туго перевязал.

Из тыла подъехала машина, какой-то офицер громко кричал на ротного, ветерком доносило только «прохлаждаетесь», «противник прет», потом объявили переход на новое место.

– Командир, а ямку эту я за каким хреном рыл? – сидя на корточках перед почти готовым окопчиком, пенял взводному пожилой грузноватый уголовник по кличке Милый. – Или мне с собой ее взять?

– Не тоскуй, Милый, в случае чего мы тебе еще лучше ямку выроем, – успокоил взводный давнего товарища по отсидке. – Поспешай, братва, ротный матом кроет.

Предстояло пройти три километра лесами в направлении какого-то важного шоссе, там мост через реку, и ожидается танковый прорыв.

Вот тут и увидел Чернухин войну во всей страшной силе ее борьбы со всем живым, в ее способности спрессовывать время и обозначать миг между бытием и отлетом души. Многотонные громады танков неудержимо неслись на людей, бестолково пытавшихся зарываться в землю, стрелять из винтовок и бежать, обезумев от ужаса. Танки настигали метущихся, сбивали их и наматывали на гусеницы.

Несколько человек добежали до леса, танки, кружнув по поляне, выровнялись в колонну и пошли дальше. Арсений сел на поваленное дерево, его вырвало густой тягучей слюной. После минутного забытья огляделся: два десятка штрафников одинаково безучастно чего-то ждали. Один поднялся, держа винтовку за ствол, как палку:

– Пошли, после танков пехота пойдет, добьют.

Смершевец говорил с ним минут пятнадцать, не больше, конвоир отвел к группе таких же, как и он, неприкаянных и никому не нужных. Среди оставшихся в живых Арсений не увидел ни одного знакомого. Еще через час их отправили на правый фланг, где формировался штрафной батальон – так сказал старший конвоя. Батальон несколько дней готовился к боям: разжалованные офицеры учили работать с гранатами против танков.

– Ну, братва, наши дела даже хреновыми не назвать, – размышлял сухопарый мужик с синяком под глазом. – Я видел, как ребята брали инкассаторскую машину, так то тычинка и пестик против танка. Вот ты посмотри, – он обратился к Чернухину, – я с танком знаком по картинкам, а мне на него с гранатой. Конечно, я полезу, потому что автоматчики сзади могут хорошо подтолкнуть, но в чем фокус? Я его подобью, но уже не жилец, они же меня кончат, или те, или эти, если назад поползу. Вот и вопрос: получу гранаты, и куда? Тычинка и пестик, другого выхода нет.

Чернухин будто у него комара на лбу убил, наклонился:

– Не брякай языком!

– Так я же в целом...

И они пошли на площадку, где стояла крестьянская телега, взятая в соседней деревне. Телега понималась как вражеский танк, и мужики на полном серьезе швыряли в нее гранатные болванки. Дважды еще смерть отталкивала Арсения, отказывалась принять его жертву, когда при отражении танковой атаки его граната не взорвалась, он упал вниз лицом, ждал взрыва, а его не было, и танк проскочил над ним, обдав дымом, пылью и грохотом. И потом еще, при безумной дневной атаке в полный рост, они бежали полем нескошенной ржи, бежали на верную гибель, но появившиеся сбоку советские танки накрыли окопы противника, и остатки штрафбата нечаянно остались жить.

Его ранило при авиационном налете, батальон доедал кашу, когда появились три штурмовика, они и прошли только раз, сбросив по одной бомбе и полоснув пулеметными очередями, а наработали много. Начальник полковой разведки орал потом на комбата, что на него штрафников не напасешься. Арсений этого не слышал, его в ту минуту оперировали в полевом госпитале. Осколок, вынутый из плеча, хирург ему показал потом, сказав, что сохранит, органы могут проверить, не самострел ли штрафничок.

7

На распределительном пункте после ранения Арсений Чернухин получил назначение в минометную роту. Офицер, посмотрев его бумаги, улыбнулся:

– Хотел тебя напугать, что минометчики под самым боком у противника работают, да, похоже, ты из пуганых. За что попал в штрафбат?

– Добровольцем, командир.

– Ну, ты Ваньку-то не валяй, я от души интересуюсь.

– Добровольно, из лагеря я.

– По какой статье сидел?

– По той самой.

– А ранение в плечо не самострел?

– Уже проверили, был бы самострел, не говорил бы с вами.

– Это мы уточним. – Особист крутнул ручку аппарата: – Барышня, дай мне тринадцатого. Тринадцатый? Чернухина из штрафбата кто оперировал? Ты? Назови фамилию. Понял. У него пулевое ранение? И пуля, случаем, не соседа по нарам? Осколочное? Точно? Смотри, я проверю, головой отвечаешь, если он самострел.

Положил трубку, лениво повернулся к Арсению:

– Все нормально. Вас тут трое уже, сейчас в полк полуторка пойдет, на ней доскочите. Явку вашу пусть командир роты мне отзвонит. Давай следующего.

В кузове полуторки лежал с десяток ящиков, Арсений присмотрелся – мины. Стало жутковато, в последнем бою на его глазах троих ребят миной разорвало.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.